

## Цицерон. Оратор

Марку Бруту

<sup>1</sup> **[Посвящение.]** 1. Что труднее и тяжелее: ответить отказом на твои частые просьбы все об одном и том же или выполнить то, чего ты просишь?— Вот о чем размышлял я, мой Брут, долго и много. Мне казалось поистине жестоким отказать тебе, кого я так сильно люблю и чью ответную любовь я чувствую, в твоей справедливой просьбе и достойном желании; но и посягать на такой предмет, с которым силы не могут совладать и которого даже мысль не может обнять, также, полагал я, не подобает тому, кто опасается суда людей разумных и сведущих. Ибо что может быть тяжелее, чем решить, каков лучший образ и как бы лучший облик речи, когда славные ораторы так не похожи друг на друга? Уступая твоим частым просьбам, я приступаю к этому не столько в надежде на успех, сколько из желания предпринять попытку: потому что я предпочитаю, последовав твоей воле, обнаружить перед тобой недостаток разума, нежели в противном случае — недостаток доброты.

<sup>3</sup> **[Трудности темы.]** Итак, ты все чаще меня спрашиваешь, какой род красноречия нравится мне больше всех и каким я представляю себе то красноречие, к которому ничего уже нельзя прибавить, которое я считаю высшим и совершеннейшим? Но тут я боюсь, что если я выполню то, чего ты хочешь, и обрисую такого оратора, какого ты ищешь, этим я ослаблю усилие многих, кто в бессилии отчаянья откажется посягать на то, чего не надеется достигнуть. Но по справедливости, на все должны посягать все те, в ком есть желание прийти к цели великой и достойной великих усилий. А у кого не хватит природных данных или силы выдающегося дарования или кто будет недостаточно просвещен изучением великих наук, пусть и он идет по тому пути, по какому сможет, ибо если стремиться стать» первым, то не позорно быть и вторым и третьим.

Ведь и среди поэтов есть место не одному Гомеру, если говорить о греках, и не одному Архилоху, или Софоклу, или Пиндару, но и вторым после них, и даже тем, кто ниже вторых. Так же и в философии величие Платона не помешало писать Аристотелю, и сам Аристотель своими поистине дивными знаниями и плодовитостью не угасил усердия остальных. 2. И не только эти блистательные мужи не были отвращены от своих высших исканий, но даже и мастера не оставили своих искусств оттого, что они не в состоянии подражать красоте Ялиса, которого мы видели на Родосе, или Венеры Косской; ни Изваяние Юпитера Олимпийского, ни статуя дорифора не отпугнули остальных скульпторов, и они по-прежнему отлично знали, что, им делать и куда идти; а было их так много, и каждый в своем роде стяжал такую славу, что, восхищаясь высшим, мы не можем не ценить и второстепенное.

<sup>6</sup> Также и среди ораторов — по крайней мере, греческих, есть один, который дивно высится над всеми; тем не менее, и рядом с Демосфеном было много великих и славных ораторов; были они и до него, да и после него не исчезли. Поэтому

тем, кто посвятил себя изучению красноречия, незачем терять надежду или ослаблять усердие: даже в достижимости совершенства не следует отчаиваться, а в высоких предметах прекрасно и то, что лишь приближается к совершенству.

7

**[Идеальный характер рисуемого образа оратора.]** Впрочем, создавая образ совершенного оратора, я обрисую его таким, каким, быть может, никто и не был. Ведь я не доискиваюсь, кто это был, а исследую, каково должно быть то непревзойденное совершенство, которое редко или даже никогда не встречалось мне в речи выдержанным с начала до конца, но то и дело просвечивало то тут, то там, у иных чаще, у иных, быть может, реже, но везде одно и то же.

<sup>8</sup> Однако я утверждаю, что и ни в каком другом роде нет ничего столь прекрасного, что не уступало бы той высшей красоте, подобием которой является всякая иная, как слепок является подобием лица. Ее невозможно уловить зрением,

.. слухом или иным чувством, и мы постигаем ее лишь размышлением и разумом. Так, мы можем представить себе изваяния прекраснее Фидиевых, хотя не видели в этом роде ничего совершеннее, и картины прекраснее тех, какие я называл. Так и сам художник, изображая Юпитера или Минерву, не видел никого, чей облик он мог бы воспроизвести, но в уме у него обретался некий высший образ красоты, и, созерцая его неотрывно, он устремлял искусство рук своих по его подобию.

3. И вот, так же как в скульптуре и живописи есть нечто превосходное и совершенное, мыслимому образу которого подражает то, что предстает нашим очам, так и образ совершенного красноречия мы постигаем душой, а его отображение ловим слухом. Платон, этот достойнейший основоположник и наставник в искусстве речи, как и в искусстве мысли, называет такие образы предметов идеями и говорит, что они не возникают, но вечно существуют в мысли и разуме, между тем как все остальное рождается, гибнет, течет, исчезает и не удерживается

сколько-нибудь долго в одном и том же состоянии. Поэтому, о чем бы мы ни рассуждали разумно и последовательно, мы должны возвести свой предмет к его предельному образу и облику.

<sup>11</sup>

**[Оратор должен обладать философским образованием.]** Но я вижу, что это мое вступление исходит не из рассуждений об ораторском искусстве, но почерпнуто из самых недр философии, да к тому же древней и несколько темной. Это вызовет, быть может, порицание и во всяком случае — удивление. Читатели будут или удивляться, какое отношение имеет все это к нашему предмету (но когда они разберутся в самом предмете, то убедятся, что недаром я начал речь издалека), или порицать, что мы ищем нехоженых путей и покидаем торные. Я и сам понимаю, как часто кажется, что я говорю нечто новое, когда я лишь повторяю весьма старое, но многим незнакомое; и все же я заявляю, что меня сделали оратором — если я действительно оратор, хотя бы в малой степени, — не риторские школы, но просторы Академии. Вот истинное поприще для многообразных и различных речей: недаром первый след на нем проложил Платон. Как он, так и другие философы в своих рассуждениях бранят оратора и в то же время приносят ему великую пользу. Ведь от них исходит, можно сказать, все обилие сырого материала для красноречия; но этот материал недостаточно обработан для процессов на форуме, так как философы, по их обычному выражению, предоставляют это более грубым музам. Такое презрение и пренебрежение философов к судебному красноречию лишило его многих важных средств; зато, блистая украшениями слов и фраз, оно имело успех у народа и не боялось сурового суда немногих. Вот как оказалось, что людям ученым недостает красноречия, доступного народу, а людям красноречивым — высокой науки.

4. Так заявим же с самого начала то, что станет понятнее потом: без философии не может явиться такой оратор, какого мы ищем; правда, не все в ней

заключено, однако польза от нее не меньше, чем польза актеру от палестры (ведь и малое нередко можно отлично сравнить с великим). Действительно, о важнейших и разнообразнейших предметах никто не может говорить подробно и пространно, не зная философии. Так, и в «Федре» Платона Сократ говорит, что даже Перикл превосходил остальных ораторов оттого, что учителем его был физик Анаксагор: от него-то, по мнению Сократа, и усвоил он много прекрасного и славного, в том числе — обилие и богатство речи и умение известными средствами слога возбуждать любые душевные движения, а это главное в красноречии. То же самое надо сказать и о Демосфене, из писем которого можно понять, каким усердным был он слушателем Платона. Далее, без философского образования мы не можем ни различить род и вид какого бы то ни было предмета, ни раскрыть его в определении, ни разделить на части, ни отличить в нем истинное от ложного, ни вывести следствия, ни заметить противоречия, ни разъяснить двусмысленное. А что сказать о природе вещей, познание которой доставляет столь обильный материал для оратора? И можно ли что-нибудь сказать или понять относительно жизни, обязанностей, добродетели, нравов, не изучив эти предметы сами по себе?

5. Все эти столь важные мысли должны обрести несчетные украшения: этому одному и учили в наше время те, кого считали учителями красноречия. Оттого никто и не обладает истинным и совершенным красноречием, что наука о вещах существует сама по себе, наука о речах — сама по себе, и люди у одних наставников учатся мыслить, у других говорить. Так и Марк Антоний, которого поколение наших отцов признавало едва ли не первым в красноречии, муж от природы пронизательный и здравомыслящий, в единственной оставленной им книге заявляет, что видывал много людей речистых, но ни одного красноречивого. Из этого видно, что у него в душе обретался некий образ красноречия, который он постигал воображением, но в действительности не видел. Итак, даже этот человек самого тонкого ума, требуя многого от себя и от других, не видел решительно никого, кто по праву мог бы называться красноречивым; и раз уж он не считал красноречивым ни себя, ни Красса, то, конечно, он заключал в душе такой образец красноречия, который решительно обнимал все, и поэтому не мог подойти к тем, кому чего-то (а иной раз и очень многого) недоставало.

Отыщем же, Брут, если это возможно, того оратора, которого никогда не видел Антоний и который, лучше сказать, вовсе никогда не существовал. Если мы и не сумеем воспроизвести и изобразить его, — тот же Антоний говорил, что это вряд ли удалось бы и богу, — то, может быть, мы сможем сказать, каким он должен быть.

**[Оратор должен владеть всеми тремя стилями речи.]** Речь бывает трех родов: иные отличались в каком-нибудь отдельном роде, но очень мало кто во всех трех одинаково, как мы того ищем. Были ораторы, так сказать, велеречивые, обладавшие одинаково величавой важностью мыслей и великолепием слов, сильные, разнообразные, обильные, важные, способные и готовые волновать и увлекать души, причем одни достигали этого речью резкой, суровой, грубой, незавершенной и незакругленной, а другие — гладкой, стройной и законченной. Были, напротив, ораторы сухие, изысканные, способные все преподать ясно и без пространности, речью меткой, отточенной и сжатой; (6) речь этого рода у некоторых была искусна, но не обработана и намеренно уподоблялась ими речи грубой и неумелой, а у других при той же скудости достигала благозвучия и изящества и бывала даже цветистой и умеренно пышной. Но есть также расположенный между ними средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайностей обоих, входящий в состав и того и другого, а лучше

сказать, ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности: разве что вплетет, как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей.

Те из ораторов, кто выказал силу в каждом из этих родов по отдельности, стяжали себе славное имя; но еще надо расследовать, достаточно ли в них выражено то, чего мы ищем. 7. В самом деле, мы видим, что были и такие, которые умели владеть как речью пышной и важной, так и речью гибкой и тонкой. О если бы мы могли найти подобие такого человека среди латинских ораторов! Как было бы превосходно, если бы нас удовлетворило свое и не надо было бы искать чужого! Я и сам воздал немалую хвалу римлянам в своем «Бруте» как из любви к своим, так и из желания ободрить других; но я помню, что намного выше всех я поставил Демосфена и что только его сила ближе соответствует тому красноречию, о котором я мечтаю, а не тому, какое мне знакомо по другим ораторам. Никто не превзошел его ни в важности, ни в изяществе, ни в умеренности. А тем, чье у нас распространилось невежественное учение и кто желает именоваться аттиками или даже говорить по-аттически, не мешает указать, чтобы они подивились на этого мужа, который, по моему, был аттичнее самих Афин, и чтобы они поучились у него, что такое аттичность, и взяли бы за образец красноречия его мощь, а не свое бессилие. Ведь у нас теперь каждый хвалит только то, чему сам способен подражать. Однако для тех, кто увлечен лучшими стремлениями, но слишком слаб в суждениях, я считаю не лишним объяснить, чем на самом деле заслужили аттики свою славу.

8. Красноречие ораторов всегда руководилось вкусом слушателей. Всякий, кто хочет иметь успех, следит за их желаниями и в согласии с ними слагает свою речь целиком применительно к их суждениям и взглядам. Так, Кария, Фригия и Мизия, наименее образованные и наименее разборчивые, усвоили приятный их слуху надутый и как бы ожирелый род красноречия, которого никогда не одобряли даже их соседи родосцы, отделенные от них лишь узким проливом, не говоря уже о греках. Афиняне же его решительно отвергали. Всегда обладая разумным и здравым суждением, они умеют слушать только неиспорченное и изящное; и оратор, повинувшись их чувству, не смел вставить в речь ни единого необычного или неприятного слова. Так и тот, о ком мы сказали, что он превосходит всех остальных, в своей решительно лучшей речи за Ктесифонта, начав униженно, в рассуждении о законах стал говорить все более веско, постепенно воспламеняя судей, а когда увидел, что они уже разделяют его пыл, то в остальной части речи смело несся во весь опор. Но все же, хоть он и тщательно взвешивал каждое слово, Эсхин упрекал его за многие выражения, понося их и насмешливо называя грубыми, противными, несносными; он даже обозвал его диким зверем и спросил, слова ли это или чудовища? Таким образом, Эсхину даже речь Демосфена не казалась аттической.

Конечно, легко выхватить какое-нибудь слово, так сказать, с самого пылу, а потом высмеивать его, когда огонь в душе у каждого погаснет; и Демосфен шутливо оправдывался, заявляя, что не от того зависят судьбы Греции, в какую сторону он простер руку или какое слово употребил. Но если даже Демосфена порицали афиняне за неестественность, как могли бы они слушать мизийца или фрагийца? В самом деле, если бы он начал петь, играя голосом и зазывая на азиатский лад, кто бы стал его слушать? Или, лучше сказать, кто бы не при. казал ему убираться?

**[Нельзя замыкаться в одном стиле.] 9.** Таким образом, только о тех, кто сообразуется с чуткостью и строгостью аттического слуха, можно сказать, что они

говорят по-аттически. Есть много родов такой речи, но наши ораторы замечают лишь один. Если кто говорит неровно и небрежно, лишь бы получалось четко и ясно, — только такую речь и признают аттической. Правильно, что аттической; неправильно, что только такую. Если, по их мнению, только в этом и заключается аттичность, то по-аттически не говорил и сам Перикл, без спору считавшийся первым оратором: будь он приверженцем простого красноречия, никогда бы не сказал поэт Аристофан, будто он гремит громом и мечет молнии, приводя в смятение всю Грецию. Пусть говорит по-аттически Лисий, чей слог столь приятен и отделан (кто с этим спорит?); но надо понимать, что аттичность Лисия состоит не в простоте и неприкрашенности, но в отсутствии необычного и неуместного. Или пышная, важная и обильная речь также может быть аттической, — или ни Эсхина, ни Демосфена нельзя считать аттиками.

Но иные объявляют себя даже последователями Фукидида! Вот некий новый и неслыханный род красноречия, сразу изобличающий невежество изобретателей. Ведь те, кто подражают Лисию, подражают, по крайней мере, речи судебного оратора: пусть в ней нет пространности и величия, но в ней есть точность и изящество, и с нею можно успешно выступить на форуме перед судьями. А Фукидид повествует о подвигах, войнах и битвах, в его рассказе есть достоинство и важность, но для речи перед судом или перед народом отсюда нечего заимствовать. Даже в его знаменитых речах столько темных и неясных выражений, что их с трудом понимаешь, а в политической речи это едва ли не самый тяжкий недостаток. Что за странная извращенность в людях: владея хлебом, поедать желуди? или афиняне, научив людей земледелию, не научили их заодно и красноречию? Наконец, кто из греческих риторов когда-нибудь что-нибудь почерпнул из Фукидида? — «Но все его хвалят!» — Согласен, но хвалят его за разумное, правдивое и серьезное объяснение событий: не за то, что он ведет процесс в суде, а за то, что он ведет повествование о войнах в своей истории.

Поэтому он никогда и не считался оратором, и если бы он не написал историю, имя его неминуемо забылось бы, хоть он и был человек видный и знатный. Но и у него никто не вдохновляется важностью слов и мыслей: напротив, все, кто говорит обрывисто и бессвязно, для чего и образца-то никакого не требуется, мнят себя чистокровными Фукидидами. Я встречал даже такого, который стремился уподобиться Ксенофону, чья речь, действительно, слаще меда, но вовсе чужда шуму форума.

33 **[Переход к теме: новое посвящение.]** Итак, вернемся к тому оратору, которого мы хотим обрисовать, вооружив его тем самым красноречием, какого ни в ком не знал Антоний. 10. Поистине, Брут, на великое и трудное дело мы посягаем; но для человека любящего, по-моему, нет ничего трудного. А я люблю и всегда любил твои дарования, твои стремления, твой нрав. С каждым днем все более меня мучит тоска о наших встречах, о привычной жизни, о твоих ученых беседах, которые мне так хотелось бы услышать, и чувства мои все более возбуждаются дивной славой твоих замечательных добродетелей, которые столь разнообразны, но все объемлются твоим высоким духом. Что может быть противоположнее, чем строгость и мягкость? Но кто когда-нибудь слыл более справедливым и более любезным? Что может быть труднее, чем решать распри многих лиц и сохранить привязанность каждого? А ты это делаешь так, что даже тот, против кого ты выносишь решение, уходит спокойный и довольный. Ты ничего не делаешь, чтобы угодить кому-нибудь одному, но всеми твоими действиями ты угождаешь всем. Вот почему на всей земле одна лишь Галлия не пылает общим пожаром: здесь

показываешь ты себя на виду у всей Италии, и тебя окружает цвет и сила **ее** лучших граждан.

А как замечательно, что среди самых важных дел ты никогда не забываешь научных занятий и постоянно или пишешь сам, или побуждаешь меня что-нибудь написать! И вот, я принимаюсь за это сочинение, только что окончив «Катона» — книгу, за которую я никогда бы не взялся, зная, как враждебно наше время добродетели, если бы не почитал грехом ослушаться, когда ты просил меня, оживляя дорогое воспоминание о нем, — но заверяю, что решаюсь писать об этом только по твоей просьбе и против моей воли. Я хочу, чтобы мы разделили вину, если я не справлюсь с таким предметом: ты — за то, что возложил на меня это бремя, я — за то, что принял его; посвятив мое сочинение тебе, я искуплю этой заслугой погрешности моих суждений.

<sup>36</sup> **[Напоминание о трудностях.]** 11. Самое трудное во всяком деле — это выразить, что представляет собою тот образ лучшего, который у греков называется  $\chi\rho\alpha\chi\iota\sigma\tau\eta\varsigma$ , ибо один считает лучшим одно, другой другое. Я люблю Энния, говорит один, потому что Энний не отходит от обычного словоупотребления; а я Пакувия, говорит другой, у него все стихи пышны и отделаны, Энний же во многом небрежен; третий, допустим, любит Акция; так все по-разному судят о латинских писателях, как и о греческих, и нелегко выяснить, что же будет всего превосходнее. Так же и в картинах одни любят резкое, грубое, темное, а другие блестящее, радостное и светлое. Что же можно взять как некоторый образец или устав, если каждая вещь замечательна в своем роде, а родов так много? Но такое сомнение не остановило меня в моей попытке: я рассудил, что во всех предметах есть нечто самое лучшее, и если даже оно скрыто, человек сведущий может в него проникнуть.

**[Ограничение темы судебным красноречием.]** Но так как есть много родов речи, все они различны и не сводятся к одному типу, то и хвалебные речи, и исторические повествования, и такие увещательные речи, образец которых оставил Исократ в панегирике, а с ним многие другие так называемые софисты, и все остальное, что чуждо прениям на форуме, — иными словами, весь род, называемый по-гречески эпидиктическим, потому что цель его — как бы показать предмет к удовольствию зрителей, — все это я сейчас оставлю в стороне.

Я не говорю, будто все это не стоит внимания, — напротив, на этом как бы вскармливается тот оратор, которого мы хотим обрисовать и о котором стараемся говорить как можно обстоятельнее. 12. Здесь он усваивает обилие слов и свободнее располагает их сочетанием и ритмом. Здесь даже допускается созвучие предложений, допускаются звучные четкие и законченные периоды и намеренно — не втайне, но открыто и свободно — проявляется забота о том, чтобы словам соответствовали слова одинаковой длины, как бы вровень отмеренные, чтобы нередко сближались несхожие и сопоставлялись противоположные понятия и чтобы окончания фраз, сходным образом закругляясь, давали сходный звук: в настоящих же судебных речах мы это делаем гораздо реже и, во всяком случае, незаметнее. В Па- нафинейокой речи сам Исократ признается, что усердно к этому стремился, — и понятно, так как он писал не для судебного прения, а для услаждения слуха.

<sup>39</sup> По преданию, первыми это разработали Фрасимах из Халкедона и Горгий из Леонтин, а затем Феодор из Византия и многие другие, кого Сократ в «Федре» называет «словоискусниками». У них многое получалось весьма звучным; но так как это искусство только что явилось на свет, то иное звучало еще слишком дробно, слишком похоже на стихи, слишком пестро. Тем более достойны удивления Геродот и Фукидид: хотя они и были современниками тех, о ком я говорил, но сами решительно пренебрегли такими забавами, а лучше

сказать, безделками. Один из них течет плавно и без запинки, словно спокойная река; другой несется быстрее и как бы военным ладом поет о военных делах. Они первые, по словам Феофраста, дали истории такой толчок, что после них она уже посягнула на более обильную и пышную речь.

13. К следующему поколению принадлежит Исократ, которого я всегда хвалю более, чем любого другого оратора этого рода, хотя ты, Брут, нередко и возражаешь против этого со всей твоей мягкостью и ученостью; но, может быть, и ты со мной согласишься, узнав, за что я его хвалю. Так как дробный ритм Фрасимаха и Горгия, которые, по преданию, первые стали искусно сочетать слова, казался ему рубленным, а слог Феодора отрывистым и недостаточно, так сказать, округлым, он первый стал изливать мысли в более пространных словах и более мягких ритмах. Так как его учениками в этом были те, кто достиг потом высшей известности как речами, так и сочинениями, то дом его прослыл кузницей красноречия. И как я с легкостью терпел порицания остальных, когда меня хвалил наш Катон, так, должно быть, Исократ, благодаря отзыву Платона, мог презирать суждения прочих. Ты ведь знаешь, что он так говорит устами Сократа почти на последней странице «Федра»: «Федр, этот Исократ еще юнец, но мне хотелось бы сказать, что я в нем угадываю». — «Что же?» — спросил тот. — «Мне кажется, его дарование слишком велико, чтобы сравнивать его речи с речами Лисия; да и к добродетели у него больше склонности; поэтому будет вовсе не удивительно, если, став постарше, он в своем роде красноречия оставит позади себя, как мальчишек, всех, кто когда-нибудь занимался речами; если же это его не удовлетворит, он устремится к высшему, словно движимый неким божественным порывом души, ибо в его сознании от природы есть нечто философское». Такое предсказание дает Сократ юноше: но писал это Платон о зрелом муже, о своем сверстнике, и понося всех остальных риторов, восхищался им одним. А кто не любит Исократ, тот пусть оставит меня заблуждаться вместе с Сократом и Платоном.

Итак, сладостная, вольная и плавная речь, богатая затейливыми мыслями и звучными словами, — вот каков эпидиктический род, о котором мы говорили: собственность софистов, пригодный скорее для парада, чем для битвы, удел гимнасиев и палестр, презираемый и гонимый на форуме. Но так как вскормленное им красноречие, окрепнув, само заботится о своей красоте и силе, нам следовало сказать и об этой как бы колыбели оратора. И все же он годится только для забав и для парадов: мы же теперь перейдем к строю и к бою.

**[План.] 14.** Так как оратор должен заботиться о трех вещах — что сказать, где сказать и как оказать, — то нам следовало бы изложить, что является лучшим в каждом из этих случаев; но мы сделаем это несколько иначе, чем это обычно делается при изучении риторики. Мы не будем давать правила, так как не в этом наша задача, но мы набросаем образ и облик образцового красноречия: не то, какими средствами оно достигнуто, но то, каким оно представляется нам.

О двух первых вещах — вкратце, потому что они не столь важны, сколько необходимы для достижения высшей славы; к тому же они свойственны и многим другим предметам.

**[«Что сказать»: нахождение.]** Действительно, найти и выбрать, что сказать, — великое дело: это — как бы душа в теле; но это забота скорее здравого смысла, чем красноречия, а в каком деле можно обойтись без здравого смысла? Конечно, тот оратор, в котором мы ищем совершенства, будет знать, откуда извлечь основания и доводы. О чем бы ни говорилось в судебной или политической речи, выяснению подлежит, во-первых, имел ли место поступок, во-вторых, как его определить и, в-третьих, как его расценить. Первый вопрос разрешается докательствами, второй — определениями, третий — понятиями о

правоте и неправоте. Чтобы применить эти понятия, оратор — не заурядный, а наш, образцовый оратор — всегда по мере возможности отвлекается от действующих лиц и обстоятельств, потому что общий вопрос может быть разобран полнее, чем частный, и поэтому то, что доказано в целом, неизбежно доказывается и в частности. Это отвлечение разбора от действительных лиц и обстоятельств к речи общего характера называется ОЕОИС. Таким путем Аристотель развивал у молодых людей не только тонкость рассуждения, нужную философам, но и полноту средств, нужную риторам, чтобы обильно и пышно говорить за и против. Он же указал нам «места» — так он это называет — как бы приметы тех доводов, на основе которых можно развить речь и за и против. 15. Так и поступит наш оратор — ибо мы говорим не о каком-нибудь декламаторе или площадном крючкотворе, но о муже учнейшем и совершеннейшем: когда перед ним будут те или иные «места», он быстро пробежит по всем, воспользуется удобными и будет о них говорить обобщенно, а это позволит ему перейти и к так называемым общим местам.

Но этими средствами он не будет пользоваться бездумно: он все взвесит и сделает свой выбор, потому что не всегда и не во всяком деле доводы, развитые из одних и тех же мест, имеют один и тот же вес. Поэтому он будет разборчив и не только найдет, что можно сказать, но и прикинет, что должно сказать. Действительно, нет ничего плодотворнее, нежели дарование, особенно когда оно возделано науками: но как богатый и обильный урожай приносит не только колосья, но и опаснейшие для них сорные травы, так иногда и из таких «мест» выводятся доводы легковесные, неуместные или бесполезные. И если бы настоящий оратор не делал здесь разумного отбора, разве бы он сумел остаться и держаться в кругу выгодных ему данных, смягчить невыгодные, скрыть или по возможности совсем обойти те, которых он не может опровергнуть, отвлечь от них внимание или выдвинуть такое предположение, которое покажется правдоподобнее, чем враждебная точка зрения?

**[«Где сказать»: расположение.]** А с какой заботой он расположит все, что найдет! — ибо такова вторая из трех забот оратора. Конечно, он возведет к своему предмету достойные подступы и пышные преддверия, он с первого натиска овладеет вниманием, утвердит свои мнения, отразит и обессилит противные, поставит самые веские доводы частью в начало, частью в конец, а между ними вдвинет слабые.

**[«Как сказать».] 16.** Итак, мы описали бегло и вкратце, каким должен быть оратор в отношении двух первых частей красноречия. Но, как мы уже сказали, эти части при всей их значительности и важности требуют меньше искусства и труда; зато когда он найдет, что сказать и где сказать, то несравненно важнее будет позаботиться, как сказать. Известно, что и наш Карнеад не раз говорил: «Клитомах говорит то же, что я, а Хармад, вдобавок, так же, как я». Если в философии, где смотрят на смысл и не взвешивают слов, столь многое зависит от способа выражения, то что подумать о делах судебных, в которых речь — превыше всего?

52 По крайней мере, по твоим письмам, Брут, я почувствовал, что ты меня спрашиваешь не о том, чего я хочу от наилучшего оратора в отношении нахождения и расположения, но желаешь узнать, какой род самой речи я считаю лучшим. Трудная задача, бессмертные боги! пожалуй, самая трудная из всех. Ведь наша речь мягка, гибка и так податлива, что последует, куда бы ее ни повели: и поэтому разнообразие характеров и склонностей породило весьма не сходные друг с другом роды красноречия. Одним по сердцу текучая округленность слов, и они считают красноречием безостановочную речь; а другие любят отдельные, расчлененные отрезки с остановками и передышками. Что может быть



более различно? однако и в том и в другом есть нечто превосходное. Одни изощряются в спокойствии, плавности и как бы чистоте и прозрачности своего рода речи; другие, пользуясь жесткими и строгими словами, стремятся к своеобразной скорбности слога. А так как мы только что установили разделение, что одни желают казаться важными, другие простыми, третьи умеренными, то сколько мы насчитали родов речи, столько же оказывается и родов ораторов.

17. И так как я уже начал давать тебе больше, чем ты просил, — ибо ты интересовался только родом речи, я же ответил вкратце и о нахождении и о расположении, — то я и теперь буду говорить не только об изложении речи, но и о ее произнесении: таким образом, ни одна часть не останется в стороне. Что же касается запоминания, то оно является общей принадлежностью многих искусств, и о нем здесь говорить не место.

**[Произнесение.]** «Как сказать» — это вопрос, относящийся и к произнесению и к изложению: ведь произнесение есть как бы красноречие тела и состоит из голоса и движений. Изменений голоса столько же, сколько изменений души, которые и вызываются преимущественно голосом. Поэтому тот совершенный оратор, о котором я все время веду рассказ, смотря потому, как пожелает он выразить страсть и всколебать души слушателей, всякий раз будет придавать голосу определенное звучание. Об этом я сказал бы подробнее, если бы сейчас было время для наставлений или если бы ты об этом просил. Сказал бы я и о тех движениях, с которыми связано и выражение лица: трудно даже передать, насколько важно, хорошо ли оратор пользуется этими средствами. Ведь даже люди, лишенные дара слова, благодаря выразительному произнесению нередко пожинали плоды красноречия, а многие люди речистые из-за неумелого произнесения слыли бездарными. Поэтому недаром Демосфен утверждал, что и первое дело, и второе, и третье есть произнесение. И если без произнесения нет красноречия, а произнесение и без красноречия имеет такую силу, то, бесспорно, что его значение в ораторском искусстве огромно.

Итак, если кто захочет быть первым в красноречии, пусть он в гневных местах говорит напряженным голосом, в спокойных — мягким; низкий голос придаст ему важности, колеблющийся — трогательности. Поистине удивительна природа голоса, который при помощи только трех звучаний — низкого, высокого и переменного — достигает столь разнообразного и столь сладостного совершенства в напевах. 18. Ведь даже в речи есть некий скрытый напев — не тот, что у фригийских и карийских риториков, которые почти поют в своих концовках, но такой, какой имели в виду Демосфен и Эсхин, упрекая друг друга в переливах голоса; а Демосфен, даже больше того, не раз говорит, что у Эсхина голос был слащавый и звонкий. Вот что надо еще, по-моему, заметить относительно достижения приятности в интонациях: сама природа, как бы упорядочивая человеческую речь, положила на каждом слове острое ударение, притом только одно, и не дальше третьего слога от конца, — поэтому искусство, следуя за природой, тем более должно стремиться к усладе слуха. Конечно, желательно, чтобы и голос был хороший; но это не в нашей власти, а постановка и владение голосом — в нашей власти. Следовательно, наш образцовый оратор будет менять и разнообразить голос и пройдет все ступени звучания, то напрягая его, то сдерживая.

Движениями он будет владеть так, чтобы в них не было ничего лишнего. Держаться он будет прямо и стройно, расхаживать — изредка и ненамного, выступать вперед — с умеренностью и тоже нечасто; никакой расслабленности шеи, никакой игры пальцами, — он не будет даже отбивать ритм суставом; зато,

владея всем своим телом, он может наклонять стан, как подобает мужу, простирает руки в напряженных местах и опускать их в спокойных.

А какое достоинство, какую привлекательность изобразит его лицо, которое выразительностью уступает только голосу! При этом должно избегать всякого излишества, всякого крив-ляния, но зато искусно владеть взглядом. Ибо как лицо есть изображение души, так глаза — ее выражение. А насколько им быть веселыми или печальными, покажут сами предметы, о которых будет идти речь.

61 [Изложение: вступление.] 19. Но пора уже обрисовать образ высшего красноречия, каким обладает наш совершенный оратор. Само название показывает, что именно этим он замечателен, и все остальное в нем перед этим ничто: ведь он именуется не «изобретатель», не «располагатель», не «производитель», хотя все это в нем есть, — нет, его название оратор — по-гречески и eloquens по-латыни. Всякий может притязать на частичное обладание любым другим искусством оратора, но его главная сила — речь, то есть словесное выражение, — принадлежит ему одному.

**[Отличие речи от философии, софистики, истории, поэзии.]**

62 Правда, некоторые философы тоже владели пышной речью, если верно, что Феофраст получил свое имя за божественную речь, что Аристотель возбуждал зависть даже в Исократе, что устами Ксенофонта, по преданию, словно говорили сами музы, и что всех, кто когда-нибудь говорил или писал, далеко превосходил и сладостью и важностью Платон, — но тем не менее, их речь лишена напряженности и остроты, свойственных настоящему оратору и настоящему форуму. Они разговаривают с людьми учеными, желая их не столько возбудить, сколько успокоить; говоря о предметах мирных, чуждых всякого волнения, стараются вразумить, а не увлечь; если они и пытаются ввести в свою речь приятное, то иным это уже кажется излишеством. Поэтому нетрудно отличить их род красноречия от того, о котором мы говорим. Именно, речь философов расслаблена, боится солнца, она чужда мыслей и слов, доступных народу, она не связана ритмом, а свободно распушена; в ней нет ни гнева, ни ненависти, ни ужаса, ни сострадания, ни хитрости, она чиста и застенчива, словно невинная дева. Поэтому лучше называть ее беседой, чем речью: хотя и всякое говорение есть речь, но только речь оратора носит это имя по справедливости.

Еще важнее установить различие при кажущемся сходстве с софистами, о которых я говорил выше, потому что они ищут того же убранства речи, которым пользуется и оратор в судебном деле. Но здесь различие в том, что их задача — не волновать, а скорее умиротворять души, не столько убеждать, сколько услаждать, и что они делают это чаще и более открыто, чем мы, в мыслях ищут скорее стройности, чем доказательности, нередко отступают от предмета, пользуются слишком смелыми переносными выражениями, располагают слова, как живописцы располагают оттеняющие цвета, соотносят равное с равным, противное с противным и чаще всего заканчивают фразы одинаковым образом.

Смежным родом является история. Изложение здесь обычно пышное, то и дело описываются местности и битвы, иной раз даже вставляются речи перед народом и перед солдатами, но в этих речах стремятся к непрерывности и плавности, а не к остроте и силе. Поэтому красноречие, которое мы ищем, следует признать чуждым историкам не в меньшей мере, чем поэтам.

Ведь и поэты подняли вопрос: чем же они отличаются от ораторов? Раньше казалось, что прежде всего ритмом и стихом, но теперь и у наших ораторов вошел в употребление ритм. В самом деле, все, что ощущается слухом как некоторая мера даже если это еще не стих — в прозаической речи стихотворный размер является недостатком, — называется ритмом, а по-гречески ритмос. Вероятно, поэтому некоторым и кажется, что речь Платона и Демокрита, хотя и далека от

стихотворной формы, обладает такой стремительностью и блистает такими словесными красотами, что ее с большим основанием можно назвать поэзией, нежели речь комических поэтов, которая ничем не отличается от обыденного разговора, кроме того, что изложена стихами. Однако не это главное в поэте, хотя его можно только похвалить, если он к строгой форме стиха добавит ораторские достоинства.

<sup>68</sup> Но хотя слог иных поэтов и величав и пышен, я все же утверждаю, что в нем больше, чем у нас, вольности в сочинении и сопряжении слов, и поэтому, по воле некоторых теоретиков, в поэзии даже господствует скорее звук, чем смысл. Поэтому, хотя поэзия и ораторское искусство сходны в одном — в оценке и отборе слов, от этого не становится менее заметным различие во всем остальном. Это несомненно, и хотя здесь и возможны споры, к нашей задаче они не относятся.

Теперь, отделив нашего оратора от красноречия философов, софистов, историков, поэтов, мы должны объяснить, каков же он будет.

**[Три задачи речи и три стиля: понятие об уместности.]**

<sup>69</sup> 21. Итак, тем красноречивым оратором, которого мы ищем вслед за Антонием, будет такой, речь которого как на суде, так и в совете будет способна убеждать, услаждать, увлекать. Первое вытекает из необходимости, второе служит удовольствию, третье ведет к победе — ибо в нем больше всего средств к тому, чтобы выиграть дело. А сколько задач у оратора, столько есть и родов красноречия: точный, чтобы убеждать, умеренный, чтобы услаждать, мощный, чтобы увлекать, — и в нем-то заключается вся сила оратора. Твердый ум и великие способности должны быть у того, кто будет владеть ими и как бы соразмерять это троякое разнообразие речи: он сумеет понять, что для чего необходимо, и сумеет это высказать так, как потребует дело.

Но основанием красноречия, как и всего другого, является философия. В самом деле, самое трудное в речи, как и в жизни, — это понять, что в каком случае уместно. Греки это называют *ἵκετιον*, мы же назовем, если угодно, уместностью. Об этом-то в философии немало есть прекрасных наставлений, и предмет этот весьма достоин познания: не зная его, сплошь и рядом допускаешь ошибки не только в жизни, но и в стихах и в прозе. Оратор к тому же должен заботиться об уместности не только в мыслях, но и в словах. Ведь не всякое положение, не всякий сан, не всякий авторитет, не всякий возраст и подавно не всякое место, время и публика допускают держаться одного для всех случаев рода мыслей и выражений. Нет, всегда и во всякой части речи, как и в жизни, следует соблюдать уместность по отношению и к предмету, о котором идет речь, и к лицам как говорящего, так и слушающих.

72 Этого весьма обширного предмета философы обычно касаются, говоря об обязанностях (а не о долге, как таковом, ибо долг всегда един), грамматики — о поэтах, учителя красноречия — о каждом роде и виде судебного дела. Сколь неуместно было бы, говоря о водостоках перед одним только судьей, употреблять пышные слова и общие места, а о величии римского народа рассуждать низко и просто! 22. Это погрешность в отношении слога, а иные погрешают против личности — или своей, или судей, или противников и не только сутью дела, но и словами: правда, без сути дела бессильны и слова, но все же одна и та же мысль может быть принята или отвергнута,

<sup>73</sup> будучи выражена теми или иными словами. Во всяком деле надо следить за мерою: ведь не только всему есть своя мера, но избыток всегда неприятнее недостатка. Апеллес говорил, что здесь и ошибаются те художники, которые не чувствуют, что достаточно и что нет.

Великое это дело, Брут, и ты это хорошо понимаешь; для него понадобилась бы другая большая книга, но для нашего разговора довольно и этого. Мы часто говорим, что одно уместно, а другое неуместно — ведь мы часто выражаемся так о любых словах и поступках, малых и больших, — и всякий раз бывает видно, насколько важно это понятие. Ведь «уместно» и «должно» — два разных понятия, и основания их различны. 74 «Должно» означает обязанность безотносительную, которой нужно следовать всегда и во всем; «уместно» означает как бы соответствие и сообразность с обстоятельствами и лицами. Это относится как к поступкам, так и особенно к словам, а также к выражению лица, движениям и поступи; все противоположное будет неуместным. Поэт бежит неуместного как величайшего недостатка — ведь наделить честною речью бесчестного, мудрой — глупого уже есть ошибка. Знаменитый живописец догадался, что если при жертвоприношении Ифигении Калхант печален, Улисс еще печальней, а Менелай в глубокой скорби, то голову Агамемнона следует окутать покрывалом, ибо кисть Не в силах выразить это величайшее горе. Даже комедиант заботится о том, что уместно, — что же, по нашему мнению, должен делать оратор? Если уместность настолько важна, то с какою тщательностью будет он следить за своими действиями в каждом деле и даже в каждой части каждого дела!

Во всяком случае, очевидно, что не только разделы речи, но и целые судебные дела в разных случаях требуют речи разного рода. 23. Следовательно, мы должны теперь отыскать признак и сущность каждого рода. Великое это дело и трудное, как не раз уже говорилось; но надо было об этом думать, когда мы начинали, а теперь остается только распустишь паруса, куда бы нас ни уносило.

[Простой род.] Прежде всего должны мы изобразить того оратора, за кем одним признают иные имя аттического.

<sup>76</sup> Он скромн, невысокого полета, подражает повседневной речи и отличается от человека неречистого больше по существу, чем по виду. Поэтому слушатели, как бы ни были сами бездарны, все же полагают, что и они могли бы так говорить. Действительно, точность этой речи со стороны кажется легкой для подражания, но на пробу оказывается на редкость трудна. В ней нет избытка крови, но должно быть достаточно соку, чтобы отсутствие великих сил возмещалось, так сказать, добрым здоровьем.

Прежде всего освободим нашего оратора как бы от оков ритма. Ты ведь знаешь, что оратор должен известным образом соблюдать некоторый ритм, о чем у нас будет речь дальше; но это относится к другим стилям, а в этом должно быть полностью отвергнуто. Но, будучи вольным, он не должен быть распушенным, чтобы получалось впечатление свободного движения, а не разнузданного блуждания. Далее, он не будет, так сказать, подгонять слова к словам: ведь так называемое зияние, то есть стечение гласных, также обладает своеобразной мягкостью и указывает на приятную небрежность человека, который о деле заботится больше, чем о словах.

Однако, располагая этими двумя вольностями, — в течении и сопряжении слов — тем более надо следить за остальными. Даже сжатую и измельченную речь следует заботливо обрабатывать, ибо даже беззаботность требует заботы. Как говорят, что некоторых женщин делает привлекательными самое отсутствие украшений, так и точная речь приятна даже в своей безыскусственности: и в том и в другом случае что-то придает им красоту, но красоту незаметную. Можно убрать всякое приметное украшение, вроде жемчугов, распустишь даже завивку и давным отказаться от всех белил и румян — однако изящество и опрятность останутся.

Речь такого оратора будет чистой и латинской, говорить он будет ясно и понятно, за уместностью выражений будет зорко следить. 24. У него не будет одного лишь достоинства речи — того, которое Феофраст перечисляет четвертым: пышности сладостной и обильной. Он будет бросать острые, быстро сменяющиеся мысли, извлекая их словно из тайников, и это будет главным его оружием; а средствами ораторского арсенала будет он пользоваться весьма сдержанно. Арсенал же наш — это украшения как мыслей, так и слов. Украшение бывает двоякого рода: иное для отдельных слов, иное для сочетаний слов. Для отдельных слов украшением считается, если слова, употребленные в собственном значении, наилучше звучат или полнее всего выражают смысл; а слова несобственного значения являются или переносными выражениями, откуда-нибудь заимствованными, или новыми, сочиненными самим оратором, или древними, вышедшими из употребления. (Последние, по существу, следовало бы считать словами с собственным значением, если бы не малая их употребительность.) А для словесных сочетаний украшение состоит в том, чтобы наблюдалось известное созвучие, которое бы исчезало с изменением слов, даже если мысль останется неизменной; что же касается таких украшений мысли, которые сохраняются независимо от изменений слов, то хотя их очень много, но хороших среди них очень мало.

Следовательно, простой оратор, стараясь лишь сохранить изящество, будет не слишком смел в сочинении слов, сдержан в переносных выражениях, скуп на устарелые обороты и еще более скромнее в остальных украшениях слов и мыслей; если он и допустит почаще переносные выражения, то лишь такие, которые сплошь и рядом встречаются во всяком разговоре, не только у столичных жителей, но даже у деревенщины — ведь и в деревне говорят «глазок у лозы», «земля томится жаждой»,

<sup>82</sup> «веселые нивы», «роскошный урожай». В этих выражениях немало смелости, но здесь либо предмет действительно похож на то, с чего взято выражение, либо он не имеет собственного названия, и переносное употребляется для ясности, а не для красоты. Этим украшением наш простой оратор будет пользоваться намного свободнее, чем другими, но все же не так вольно, как пользовался бы в высочайшем роде красноречия. 25. Таким образом, и здесь явится неуместность, — что это такое, видно из понятия об уместном, — если какое-нибудь переносное выражение окажется слишком смелым и в низкую речь попадет то, что уместно лишь в высокой.

<sup>83</sup> Что же касается благозвучия, которое придает расположению слов блеск того, что греки называют «фигурами», словно своего рода речевые жесты — слово, отсюда перенесенное и на украшения мыслей, — то наш простой оратор, которого некоторые по справедливости называют аттиком, хотя и не он один имеет право на это имя, тоже будет их употреблять, но значительно реже: он будет пользоваться ими с выбором, как если бы, приготавливая обед, он отказался от всякой роскоши, но постарался бы проявить не только умеренность, а и хороший вкус. Действительно, многое подошло бы даже к умеренности того оратора, о котором я говорю. Правда, чтобы нельзя было уличить его в искусственном благозвучии и погоне за приятностью, тонкий оратор должен избегать того, о чем я упоминал раньше — соотнесения равных слов с равными, сходных и подобозвучающих закруглений фраз, сопоставления слов, различающихся одной лишь буквой. Далее, такие повторения слов, которые требуют напряжения и крика, будут также чужды сдержанности нашего оратора. Всеми остальными средствами он может пользоваться без различия, лишь бы периоды его были не слишком отчетливыми и не слишком длинными, слова — как можно более употребительными,

переносные выражения — как можно более смягченными. Он даже допустит в речь украшения мыслей, если блеск их не очень заметен. Конечно, он не заставит говорить республику, не вызовет мертвых из гробниц, не обоймет одним охватом груды слов, вторящих друг другу, — для этого нужна более мощная грудь, и этого нельзя ни ждать, ни требовать от оратора, которого мы изображаем: и голос и речь у него будут спокойнее. Но многое из этих украшений подойдет даже для его простоты, хотя отделять их он будет и не столь тщательно. Вот какого оратора выводим мы к народу.

К тому же и произнесение у него будет не трагедийное и не театральное: в движениях тела он будет скромнен и всю выразительность сосредоточит в лице, но не так, чтобы говорили, что он строит рожи, а так, чтобы оно естественно выражало смысл каждого слова.

26. В этом роде красноречия будут рассыпаны даже шутки, значение которых для речи особенно велико. Есть два рода шуток — насмешливость и остроты. Оратор будет владеть обоими, применяя первый в каком-нибудь изящном повествовании, а второй — для смешных выпадов и колкостей: эти последние бывают разнообразны, но сейчас не об этом речь. Однако напоминаем, что оратор должен прибегать к смешному не слишком часто, как шут, не бесстыдно, как мим, не злостно, как наглец, не против несчастья, как черствый человек, не против преступления, где смех должен уступить место ненависти, к наконец не вразрез со своим характером, с характером судей или обстоятельств, — все это относится к области неуместного. Он будет избегать также и шуток надуманных, не созданных тут же, а принесенных из дому, потому что они обычно бывают холодны; он будет щадить дружбу и достоинства, избегать непоправимых обид и разить только противников, но и то не всегда, не всех и не всяким образом. За этими исключениями, он будет таким мастером шуток и насмешки, какого я никогда не видел среди этих новых аттиков, хотя это бесспорно и в высшей степени свойственно аттичности.

Вот каким представляется мне образ оратора простого, но великого, и притом чистокровного аттика: ведь все, что есть в речи здорового и остроумного, свойственно аттикам. Правда, не все они отличались насмешливостью: ее много у Лисия и у Гиперида, больше всех ею славится Демад, у Демосфена же ее меньше; тем не менее, ни в ком я не вижу большего изящества. Однако Демосфен предпочитал остротам насмешливость, ибо первые требуют смелого дарования, второе — большего искусства..

[Умеренный род.] Есть также иной род красноречия, обильнее и сильнее, чем тот низкий, о котором говорилось, но скромнее, чем высочайший, о котором еще будет говориться. В этом роде меньше всего напряженности, но, пожалуй, больше всего сладости. Он полнее, чем первый, обнаженный, но скромнее, чем третий, пышный и богатый. 27. Ему приличествуют все украшения слога, и в этом образе речи больше всего сладости. В нем имели успех многие из греков, но всех превзошел, на мой взгляд, Деметрий Фалерский, речь которого течет спокойно и сдержанно, но при этом блещет, словно звездами, переносными и замененными выражениями.

Под переносными выражениями (метафорами) я имею в виду, как и все время до сих пор, такие выражения, которые переносятся с другого предмета по сходству, или ради приятности, или по необходимости; под замененными (метонимиями) — такие, в которых вместо настоящего слова подставляется другое в том же значении, заимствованное от какого-нибудь смежного предмета. Так, одним способом перенесения воспользовался Энний, сказав «сирота оплота и града»; другим — [если бы он подразумевал под оплотом родину; а также] в стихе «Африка содрогнулась вдруг от страшного гула», [поставив «Африку» вместо

«афров»]. Риторы называют это гипаллагой, ибо слова здесь как бы подменяются словами, грамматики — метонимией, ибо наименования переносятся. Аристотель, однако, и это причисляет к переносным значениям, вместе с другим отступлением от обычного употребления — так называемой катахресой: например, когда о слабой душе мы говорим «мелкая душа», употребляя близкие по смыслу слова, если таковы требования приятности или уместности. Когда же следует подряд много метафор, то речь явно становится иносказательной: поэтому греки и называют такой прием «аллегория» — наименование это справедливое, но по существу вернее поступает [Аристотель], который все это называет метафорами. У Фалерского этот прием очень част и очень красив; но хотя метафоры у него многочисленны, метонимий у него не слишком много.

В этом же роде речи — именно, в умеренном и сдержанном — уместны любые украшения слов и даже многие украшения мыслей. При помощи таких речей развертываются пространные и ученые рассуждения и развиваются общие места, не требующие напряжения. К чему долго говорить? такие ораторы выходят едва ли не из философских школ, и если рядом с ними не стоит для сравнения иной, сильнейший оратор, они сами служат себе похвалой. Итак, это приятный, цветистый род речи, разнообразный и отделанный: все слова и все мысли сплетают в нем свои красоты. Весь он вытек на форум из кладезей софистов, но, встретив презрение простого и сопротивление важного рода ораторов, занял то промежуточное место которое я описал.

**[Высокий род.] 28.** Третий род речи — высокий, богатый важный, пышный и, бесспорно, обладающий наибольшей мощью. Это его слог своей пышностью и богатством заставил восхищенные народы признать великую силу красноречия в государственных делах — того красноречия, которое несется стремительно и шумно, которым все восторгаются, которому дивятся, которому не смеют подражать. Такое красноречие способно волновать души и внушать желаемое настроение: оно то врывается, то вкрадывается в сердца, сеет новые убеждения, выкорчевывает старые.

Но между этим красноречием и предыдущими есть огромная разница. Кто старается овладеть простым и резким родом, чтобы говорить умело и искусно, не помышляя о высшем, тот, достигнув этого, будет великим оратором, хотя и не величайшим: ему почти не придется ступать на скользкий путь, и, раз встав на ноги, он никогда не упадет. Оратор среднего рода, который я называю умеренным и сдержанным, будучи достаточно изощрен в своем искусстве, не испугается сомнительных и неверных поворотов речи, и если даже он не добьется успеха, как нередко случается, опасность для него все же невелика — ему не придется падать с большой высоты.

А наш оратор, которого мы считаем самым лучшим, важный, острый, пылкий, даже если он только для этого рода рожден, только в нем упражнялся, только его изучал, — все же он будет заслуживать глубокого презрения, если не сумеет умерить свое богатство средствами двух других родов. Действительно, простой оратор, если он говорит опытно и тонко, будет казаться мудрым, умеренный — приятным, а этот, богатейший, если ничего больше у него нет, вряд ли даже покажется здоровым. Кто не может говорить спокойно, мягко, отдельно, определенно, четко, остроумно, когда именно такой разработки требует речь в целом или в какой-нибудь отдельной части, — тот, обратя свой пламень к неподготовленному слуху, покажется бесноватым среди здоровых и чуть ли не вакхантом, хмельным среди трезвых.

**[Оратор должен владеть всеми тремя стилями речи.]** Итак, Брут, мы нашли того, кого искали, хотя и мысленно: а если бы я еще и мог схватить его руками, то даже всем своим красноречием не убедил бы он меня выпустить его.

29. Все же несомненно мы нашли того красноречивого оратора, которого никогда не видел Антоний. Кто же он такой? Скажу вкратце и потом изъясню подробнее. Это — такой оратор, который умеет говорить о низком просто, о высоком важно и о среднем умеренно.

Ты скажешь: «Такого никогда не бывало». Пусть не бывало. Я рассуждаю не о том, что видел, а о том, что мечтаю увидеть: напоминаю, что я говорил о платоновском образе и облике, которого мы хотя и не видим, но можем познать душой. Ибо не человека я ищу красноречивого, не то, что непрочно и смертно, а только то самое, что делает своего обладателя красноречивым, — а это и есть не что иное, как само красноречие, которое, однако, можно увидеть лишь духовными очами.

Скажем еще раз: это будет такой оратор, который о малом сможет говорить скромно, о среднем умеренно, о великом важно. Вся моя речь за Цецину была посвящена словам интердикта: мы разъясняли скрытый смысл определениями, ссылались на гражданское право, уточняли двусмысленные выражения. По поводу Манилиева закона мне нужно было восхвалять Помпея: средства для восхваления дала нам умеренная речь. Дело Рабирия давало мне полное право коснуться величия римского народа: поэтому здесь мы дали полную волю разливаться нашему пламени. Но иногда это нужно смешивать и разнообразить. Какого рода красноречия нельзя найти в семи книгах моих обвинений? в речи за Габита? за Корнелия? во многих наших защитительных речах? Я подобрал бы и примеры, если бы не полагал, что они достаточно известны или что желающие могут сами их подобрать. Ни в одном роде нет такого ораторского достоинства, которого бы не было в наших речах, пусть не в совершенном виде, но хотя бы в виде попытки или наброска. Если мы и не достигаем цели, то, по крайней мере, мы видим, к какой цели следует стремиться.

Но сейчас разговор не о нас, а о нашем предмете: а здесь мы очень далеки от того, чтобы восхищаться своими творениями. Ведь мы настолько строги и требовательны, что сам Демосфен для нас не совершенство: хотя он единственный возвышается над всеми во всяком роде речи, все же и он не всегда удовлетворяет наш слух — вот какова жадность и ненасытность этого слуха, чьи требования подчас превышают всякие меры и границы! 30. А ты в бытность свою в Афинах внимательнейшим образом изучил всего этого оратора под руководством Паммена, его ревностного почитателя, да и теперь не выпускаешь его из рук. Несмотря на это, ты читаешь и наши сочинения, так что тебе ясно видно: он многое совершил, я на многое посягнул, он умел всякий раз говорить так, как этого требовало дело, я же только стремился к этому. Но он был великий оратор, наследовал великим и был современником величайших ораторов! И мы бы совершили великое, если бы могли достигнуть своей цели в городе, где, по словам Антония, ни разу не слышали красноречивого человека. А если Антоний не находил красноречия ни в Крассе, ни в самом себе, то и подавно не признал бы красноречивыми ни Котту, ни Сульпиция, ни Гортензия, ибо у Котты не, было высоты, у Сульпиция мягкости, у Гортензия слишком мало важности; их предшественники (я имею в виду Красса и Антония) в большей степени владели всеми родами речи.

Итак, мы обрели слух наших сограждан, изголодавшийся по красноречию столь многообразному, объемлющему все роды в равной мере, и мы впервые, каковы бы мы ни были, как бы слаба ни была наша речь, возбудили в них несказан-<sup>107</sup> ную страсть к подобному красноречию. Под какие рукоплескания говорили мы в юности о каре отцеубийцам, пока, спустя немного, не почувствовали в этой пылкости излишества: «Какое достояние может быть более общим, чем воздух для живых, земля для мертвых, море для пловца, берег



для выброшенного морем? А они, пока в силах, живут — и не могут впитать небесный воздух, умирают — и кости их не коснутся земли, носятся в волнах — и влага их не омоет, наконец, их выбрасывает на берег — но даже среди скал нет покоя мертвому» и т. д.: все это достойно юноши, в котором хвалят не заслуги и зрелость, а надежды и обещания. В том же духе и это, уже более зрелое восклицание: «жена зятю, мачеха сыну, соперница дочери!». Но не только таков был наш пыл, и не только так говорили мы. Даже в нашем юношеском многословии многое было простым, а иное — и более легким, как, например, в речах за Габита, за Корнелия и за многих других. Ведь ни один оратор, даже в досужей Греции, не написал так много, как написали мы: и в этих наших сочинениях есть то самое разнообразие, которое я обосновываю.

31. Если можно простить Гомеру, Эннию и остальным поэтам, особенно же трагикам, что у них не везде одинакова напряженность, что они часто меняют тон и даже снисходят до обыденного разговорного слога, то неужели я не имею права отступить от этой высочайшей напряженности? Но зачем я говорю о поэтах с их божественным даром? Мы видали актеров, которых никто не мог превзойти в их искусстве: и не только каждый из них был превосходен в различных ролях своего жанра, но даже — мы это видели — комический актер выступал в трагедиях, а трагический — в комедиях, и оба имели успех. Отчего же и мне не стремиться к тому же?

Говоря о себе, я говорю о тебе, Брут: правда, я уже давно сделал то, что следовало сделать; но разве ты одинаково поведешь все дела? разве отвергнешь какой-нибудь род процессов? разве в одном и том же процессе ты будешь постоянно и без изменений выдерживать одно и то же настроение? Сам Демосфен, которого, я уверен, ты любишь — ведь я видел недавно у тебя на Тускуланской вилле его бронзовое изваяние среди изображений твоих собственных и твоих предков, — сам Демосфен нисколько не уступал в простоте — Лисию, в изяществе и остроумии — Гипериду, в гладкости и блеске слов — Эсхину. У него много речей, простых с начала до конца, как против Лептина; много важных с начала до конца, как некоторые Филиппики; много переменных, как против Эсхина о преступном посольстве и как против него же по делу Ктесифонта. При желании он обращается и к среднему роду и когда отступает от важности, то обычно прибегает к нему. Однако больше всего шума он возбуждает и больше всего впечатления производит, когда пользуется приемами важного рода.

<sup>112</sup> Но оставим его на время: ведь мы изучаем не человека, а общий вопрос. Мы хотим изъяснить природу и сущность самого предмета, то есть красноречия, памятуя, однако, что наша цель, как уже было сказано, совсем не в том, чтобы давать предписания: скорее мы постараемся явиться не учителями, а ценителями. Если мы при этом часто вдаемся в далекие отступления, то лишь потому, что эту книгу будешь читать не ты один, которому все это гораздо лучше известно, чем нам, мнимым наставникам: она неминуемо получит широкое распространение, если не благодаря моим заслугам, то благодаря твоему имени.

**[Оратор должен обладать философским и научным образом.]** <sup>113</sup> 32. Итак, я полагаю, что совершенный оратор должен не только владеть свойственным ему искусством широко и пространно говорить, но также обладать познаниями в близкой и как бы смежной с этим науке диалектиков. Хоть и кажется, что одно дело речь, а другое спор, и что держать речь

и вести спор вещи разные, — однако суть и в том и в другом V случае одна, а именно — рассуждение. Наука о разбирательстве и споре — область диалектиков, наука же о речи и ее украшениях — область ораторов. Знаменитый Зенон, от которого пошло учение стоиков, часто показывал различие между этими науками одним движением руки: сжимая пальцы в кулак, он говорил, что такова диалектика, а раскрывая руку и раздвигая <sup>114</sup> пальцы — что такую ладонь напоминает красноречие. А еще до него Аристотель сказал в начале своей Риторике, что эта наука представляет как бы параллель диалектике, и они отличаются друг от друга только тем, что искусство речи требует большей широты, искусство спора — большей сжатости.

Итак, я хочу, чтобы наш совершенный оратор знал искусство спора в той мере, в какой оно полезно для искусства речи. В этой области существуют два направления, о которых ты, основательно занимаясь этими науками, конечно, знаешь. Именно, и сам Аристотель сообщил немало наставлений об искусстве рассуждать, и после него так называемые диалектики открыли много тонкостей. Поэтому я полагаю, что тот, кого влечет слава красноречия, не останется в этих вопросах невеждою, но просветит себя или учением древних, или же учением Хрисиппа. Прежде всего он познает значение, природу и разряды слов простых и связанных; затем, что какими способами говорится; как различить истинное и ложное; что из чего происходит; что чему соответствует или противопоставляется; и так как обычно в словах бывает много неясного, то каким образом следует это раскрыть при разделении. Такие случаи встречаются часто, так что оратор должен владеть всеми этими знаниями; но так как сами по себе они слишком грубы, то он должен развивать их с некоторым ораторским блеском. 33. Например, во всем, что мы изучаем разумно и последовательно, необходимо прежде всего установить, что чем является: ибо если между сторонами нет согласия насчет предмета спора, то невозможно ни правильно рассуждать, ни прийти к какому-либо выводу. Следовательно, часто придется излагать словами наши представления о всяком предмете и раскрывать определениями скрытое в предмете понятие: ведь именно определение способно короче всего показать, чем является предмет речи. Далее, как тебе известно, объяснив общий род каждого дела, надо взглянуть, каковы виды или части этого рода, и в соответствии с этим распределить всю речь.

Стало быть, и тот, в ком мы хотим увидеть красноречие, будет способен давать определения предметам, и при этом не так кратко и сжато, как обычно делается в ученых спорах, но более развернуто, обильно и применительно к общим мнениям и к пониманию народа; а если предмет того потребует, он будет расчленять и разделять родовое понятие на известные видовые, ничего не упуская и не допуская ничего лишнего. Но в каких случаях это делать и каким образом, — об этом сейчас говорить не время, потому что, как я уже сказал, я хочу быть не ученым, а критиком.

Он должен быть вооружен не только диалектикой: пусть он имеет знания и опыт во всех областях философии. В самом деле, ни о религии, ни о смерти, ни о благочестии, ни о любви к отечеству, ни о добрых и злых делах, ни о добродетелях и пороках, ни об обязанностях, ни о горести, ни о радости, ни о душевных волнениях и заблуждениях, — а все это попадает в речах часто, но рассматривается слишком сухо, — ни о чем, говорю я, без помощи названной науки он не сможет говорить и рассуждать важно, высоко и богато.

34. Сейчас я все еще говорю о материале речи, а не о самом характере выражения. Действительно, прежде всего нужно, чтобы предмет, о котором говорит оратор, был достоин искушенного слуха, и лишь затем оратор должен обдумать, как и какими словами о нем сказать. Я хочу, чтобы он был знаком даже с учениями физиков, как Перикл, о котором я говорил, ибо это придаст ему величия и возвышенности: в самом деле, если он будет переходить от небесных предметов к человеческим, все его слова и чувства станут возвышеннее и великолепнее.

Однако, познав дела божественные, он не должен пренебречь и делами человеческими. Пусть он владеет знаниями о гражданском праве, которых так мадо в наши дни в судебных речах: ибо что может быть постыднее, чем браться за защитительную речь в прениях о законах и праве, когда ты не знаешь ни того, ни другого?

Пусть он изучит также последовательность памятных событий старины, прежде всего, разумеется, в нашем государстве, но также и у других державных народов и знаменитых царей. Эту работу облегчил нам труд нашего Аттика, который собрал в одной книге память о семи столетиях, соблюдая и отмечая хронологию и не пропустив ничего замечательного. Не знать, что случилось до твоего рождения — значит всегда оставаться ребенком. В самом деле, что такое жизнь человека, если память о древних событиях не связывает ее с жизнью наших предков? А упоминания о древности и почерпнутые оттуда примеры придадут речи не только необыкновенную сладость, но и достоинство и убедительность.

<sup>121</sup> [Оратор должен владеть риторической техникой.] После такой подготовки приступит он к судебным делам и прежде всего установит, какого рода эти дела. Ведь для него не будет тайной, что во всяком сомнительном деле могут оспариваться либо факты, либо слова. Если факты, то рассматривается, так ли это было, справедливо ли это было и как это следует определить; если слова, то рассматривается или двусмысленность, или противоречивость. Так, когда мысль выражает одно, а слова — другое, это будет одним из случаев двусмысленности: так бывает, если оказывается пропущено слово, и весь смысл становится двояким, что и является признаком двусмысленности. 35. А поскольку судебные дела столь разнообразны, постольку разнообразны и предписания насчет доводов. Согласно традиции, они развиваются на основании «мест» двоякого рода: одни из самих фактов, другие со стороны.

Таким образом, только разработка предмета делает речь восхитительной: ведь познать самые предметы совсем нетрудно. Что же, следовательно, является достоянием искусства? Создать вступление к речи, чтобы привлечь слушателя, возбудить его внимание и подготовить его к своим поучениям; изложить дело кратко и ясно, чтобы все в нем было понятно; обосновать свою точку зрения и опровергнуть противную и сделать это не беспорядочно, а при помощи такого построения отдельных доводов, чтобы общие следствия вытекали и из частных доказательств; наконец, замкнуть это все воспламеняющим или успокаивающим заключением.

Каким образом разрабатывать эти отдельные части — об этом здесь трудно сказать, так как не всегда они разрабатываются одинаково. Но я ищу не того, кого можно учить, а того, кого должно хвалить; а хвалить я буду прежде всего того, кто различит, что где уместно. Именно эта мудрость и нужна человеку красноречивому, чтобы он мог быть повелителем обстоятельств и лиц. Ибо я полагаю, что не всегда, не при всех, не против всякого, не за всякого и не со всяким следует говорить одинаково. 36. Поэтому красноречивым будет тот, кто

сумеет примениться в своей речи ко всему, что окажется уместным. Установив это, он скажет, что придется говорить, таким образом, чтобы сочное не оказалось сухим, великое — мелким и наоборот, и речь его будет соответствовать и прили<sup>124</sup> чествовать предметам. Начало — сдержанное, пока еще не воспламененное высокими словами, но богатое острыми мыслями, направленными во вред противной стороне или в защиту своей. Повествование — правдоподобное, изложенное ясно, речью не исторической, а близкой к обыденной. Далее, если дело простое, то и связь доводов будет простая как в утверждениях, так и в опровержениях; и она будет выдержана так, чтобы речь была на той же высоте, что и предмет речи.

Если же дело случится такое, что в нем можно развернуть всю мощь красноречия, тогда оратор разольется шире, тогда и будет он властвовать и править душами, настраивая их, как ему угодно, то есть, как того потребуют сущность дела и обстоятельства.

**[Общий вопрос и амплификация.]** Все восхитительные украшения, благодаря которым красноречие достигает такого величия, бывают двоякого рода. Конечно, любое средство речи должно заслуживать похвал, и нельзя упускать ни единого важного или изящного слова, но есть два самых блистательных и как бы самых действенных средства: одно из них я усматриваю в разборе вопроса общего рода — как я уже сказал, греки его называют &#x2116;αι, — а другое — в распространении и разворачивании темы — это греки называют αὐτίς. Это распространение должно равномерно растекаться в речи по всем жилам, но больше всего оно будет выделяться в общих местах. Общими эти места называются оттого, что по видимости они могут принадлежать многим делам, на самом же деле должны связываться с каждым из них в отдельности. Та часть речи, в которой говорится о вопросах общего рода, часто содержит в себе и все содержание дела. О чем бы ни шел спор в прениях — греки называют этот предмет спора χρίσις, — о нем лучше всего говорить так, чтобы перейти к неограниченному предмету и говорить об общем роде. Исключениями являются те случаи, когда оспаривается истинность факта, и для этого

<sup>127</sup> обычно используется предположение. Говорить об этих вопросах следует с большей силой, чем это делают перипатетики, — несмотря на то, что их приемы изящны и установлены еще самим Аристотелем; а применяя общие соображения к частному случаю, следует уже здесь о подзащитном говорить мягко, а о противнике сурово. Если речь пользуется распространением и сокращением темы — против нее ничто не в силах устоять. Обращаться к этим средствам следует и в ходе самих доводов, когда представляется случай к разворачиванию или сокращению «мест», и почти без ограничений — в заключении.

<sup>128</sup> **[Этос и пафос] 37.** При этом есть два средства, которые, будучи хорошо разработаны оратором, делают его красноречие, восхитительным. Одно из них, называемое у греков τῆξις, служит для изображения характеров, нравов и всякого жизненного состояния; другое, называемое у них Τσα&Τίξις, — для того, чтобы волновать и возмущать души — ведь именно в этом состоит царственное могущество речи. Первое — мягкое, приятное — предназначено возбудить сочувствие слушателей; второе — мощное, пламенное, стремительное — призвано вырвать победу: когда оно несет со всей силой, невозможно устоять перед ним.

Именно благодаря этому я, оратор посредственный (если не хуже), но всегда действовавший мощным натиском, не раз сбивал противника со всех позиций. Гортензий, величайший оратор, защищая близкого человека, не смог отвечать перед нами. Катилина, человек небывалой наглости, онемел перед

нашим обвинением в сенате. Курион-старший принялся было отвечать нам по частному делу большой важности, но вдруг сел на место, заявляя, что его опоили, лишив памяти. А что сказать о возбуждении сострадания? в этом у меня еще больше опыта, потому что если даже нас, защитников, выступало несколько, то все оставляли за мною заключение, и мне приходилось полагаться не на дарование, а на душевное сочувствие, чтоб создать впечатление превосходства. Все выражения чувств, какими я располагаю, — мне совестно, что их так мало, — находят место в моих речах, даже если в писаном тексте отсутствует тот дух, благодаря которому при исполнении они кажутся лучше, чем при чтении.

38. Но не только состраданием случается нам волновать сердца судей, хотя в стремлении разжалобить мы доходили до того, что произносили заключенные речи, держа младенца на руках, а в другом случае заставляли благородного подзащитного встать и, подняв в воздух его малютку-сына, оглашали форум жалобами и стенаниями. Иногда нужно добиться, чтобы судья почувствовал и гнев, и успокоение, и ненависть, и благосклонность, и презрение, и восторг, и отвращение, и любовь, и желание, и недовольство, и надежду, и страх, и радость, и скорбь. Разнообразные примеры суровых чувств можно найти в моем обвинении, примеры мягких — в моих защитительных речах: нет такого средства возбудить или успокоить душу слушателя, какого бы я ни испробовал. Я сказал бы, что достиг в этом совершенства, если бы мог действительно так думать и если бы при этом не боялся показаться заносчивым. Но, как я уже сказал, не сила дарования, а сила чувства воодушевляет меня и лишает власти над собой: никогда не удастся воспламенить слушателя, если не подойти к нему с пламенной речью. Я бы привел примеры из своего опыта, если бы ты и без того их не знал; привел бы другие, латинские, если бы мог их найти, или греческие, если бы они были здесь уместны. Но таких примеров у Красса слишком мало, да и те не в судебных речах; их не найти ни у Антония, ни у Котты, ни у Сульпиция; а Гортензий лучше говорил, чем

357<sup>133</sup> писал. 'Однако если нет примеров, то мы можем хотя бы вообразить такую мощь, какую мы ищем; если же мы воспользуемся примером, и примером исполинским, то возьмем его из Демосфена, из того места в его речи за Ктесифонта, где он начинает говорить о своих делах, советах и заслугах перед государством: поистине, эта речь настолько совпадает с тем образцом, который запечатлен в нашей душе, что не приходится желать более совершенного красноречия.

<sup>134</sup> **[Фигуры мысли и слова.] 39. И** вот мы подошли к самому облику речи — к тому, что называется *характифр*. Каким он должен быть, можно понять из того, что было уже сказано. Так, мы упоминали о красотах и отдельных слов и их сочетаний. В речи они должны так изобиловать, чтобы ни одно слово, лишенное изящества или важности, не исходило из уст оратора. Особенно много в ней должно быть переносных выражений всякого рода, потому что они, сближая два предмета, переносят внимание с одного на другой и обратно, приводя мысли слушателя в движение; а такое быстрое движение разума приятно само по себе. И другие красоты — те, которые порождаются сочетанием слов, — также немало способствуют пышности речи. Подобно тому как о приметных украшениях в богатом убранстве сцены или форума говорится, что они бросаются в глаза, — не потому, что они одни создают красоту,

<sup>135</sup> но потому что они при этом особенно выделяются, — так и эти обороты служат приметными украшениями речи. Они состоят в том, чтобы повторять и удваивать слова; или возвращать их в слегка измененном виде; или начинать несколько раз с одного и того же слова, или кончать таким же образом, или вместе и начинать и кончать; или добавлять повторение в начале, или помещать

его в конце; или два раза подряд употреблять одно и то же слово в различных значениях; или заканчивать ряды слов одинаковыми падежами или окончаниями; или соотносить противоположное с противоположным; или, словно по ступеням, восходить все выше; или, опустив союзы, многое перечислять отрывисто; или обойти что-нибудь молчанием и указать, почему; или исправить себя самого в форме упрека; или выразить восклицанием удивление или вопрос; или несколько раз повторить одно и то же слово в разных падежах.

<sup>136</sup> Однако украшения мысли гораздо важнее. Ими особенно часто пользовался Демосфен: некоторые даже считают, что это и принесло его красноречию величайшую славу. И впрямь, в его речах нет почти ни одного места, где бы мысль не складывалась в ту или иную фигуру. Действительно, что значит владеть речью, как не придавать блестящую внешность всем или почти всем мыслям? Так как ты, славный Брут, прекрасно это знаешь, то мне незачем приводить наименования или примеры: достаточно будет отметить источник для них.

40. Тот, кого мы ищем, говорить будет так, чтобы одно и то же содержание повторялось в различной форме; он будет останавливаться на каком-нибудь одном предмете, задерживаться на какой-нибудь одной мысли; он будет иной раз умалять что-нибудь, иной раз выставлять на смех; будет отступать и отклоняться мыслью от предмета; будет заранее сообщать, о чем он скажет; закончив мысль, подведет ей итог; будет сам себя призывать к делу; будет повторять сказанное; будет логически заключать доводы; будет теснить противника вопросами; будет словно сам себе отвечать на поставленный вопрос; говоря одно, заставит понимать и чувствовать противоположное; изобразит сомнение, что и как ему сказать; разделит речь по частям; кое-что оставит в стороне, словно пренебрегая; заранее оградится от возможных нападков; предъявленное ему <sup>138</sup> обвинение обратит против самих противников; будет то и дело относиться с рассуждениями к публике, а то и к противнику; введет описания людских речей и нравов; немые вещи заставит говорить; отвлечет внимание от предмета спора; иной раз обратится к шутке и насмешке; заранее завладеет доводами, которые могут быть выставлены против него; воспользуется уподоблениями, обратится к примерам; разделит по частям действие между лицами; перебивающих обуздает; заявит, что кое о чем умалчивает; предупредит, чего следует остерегаться; поведет речь с необычной резкостью; поначалу даже разгневется; начнет попрекать противника; будет просить прощения, умолять, заглаживать вину; слегка отступит от плана; будет желать, будет проклинать, будет добиваться, чтобы присутствующие стали его союзниками.

Он будет стремиться также и к другим достоинствам речи: будет краток, если предмет того требует; описывая предмет, иной раз как бы представит его взору; иной раз увлечется за пределы возможного; иной раз вложит в речь больше значения, чем выражено в словах; иной раз обнаружит веселость, иной раз — подражание жизни и природе. Все величие красноречия должно сиять в приемах этого рода: ты видишь, что их так много, как деревьев в лесу.

**[Отступление: к лицу ли государственному деятелю рассуждать о красноречии?]** 41. Но все это не может достичь намеченной цели, если не получит в словах нужное расположение и как бы строй и связь. Видел я, что мне и об этом надо сказать по порядку; но здесь, кроме всего, о чем я уже говорил, еще более смущали меня вот какие соображения. Мне случалось встречать не только завистников, каких везде полно, но даже поклонников моих достоинств, которые считали, что человеку, чьи заслуги сенат с одобрения римского народа оценил так

высоко, как ничьи другие, не подобает столько заниматься в своих сочинениях техникою речи.

Если бы я им только и возразил, что не хочу ответить отказом на просьбу Брута, уже было бы достаточным извинением само мое желание удовлетворить честную и справедливую просьбу человека выдающегося и моего ближайшего друга.

Но если бы я даже и пообещал — о если бы это было мне по силам! — преподать учащимся правила речи и указать пути, ведущие к красноречию, какой справедливый судья упрекнул бы меня за это? Кто мог бы оспаривать, что первое место в нашем государстве в мирные и спокойные времена занимало красноречие, а знание права — второе? Ведь первое давало влияние, славу, опору, второе же — только средства к преследованию и защите. И право даже не раз прибегало само к помощи красноречия, а если и вступало с ним в борьбу, то с трудом защищало и собственные границы и пределы.

Отчего же наука права всегда почиталась прекрасной, и дома знаменитых правоведов были полны учеников, тогда как человек, побуждающий молодежь к ораторскому искусству или помогающий в этом, подвергался порицанию? Уж если искусно говорить — это порок, то изгоните вовсе красноречие из государства; если же оно не только украшает своего обладателя, а и служит на благо всему государству, то разве позорно учиться честному знанию? и если обладать красноречием прекрасно, то разве учить ему не славно?

42. «Но одно — общепринято, другое — ново». — Согласен; но и тому и другому есть своя причина. Знатоки права не уделяли для обучения особого времени, а одновременно удовлетворяли и тех, кто приходил к ним за уроком и за советом — ведь достаточно слушать со стороны их консультации, чтобы выучиться праву. Ораторы же, у которых дома все время было занято изучением дел и подготовкой речей, на форуме — их произнесением, а остаток дня посвящен отдыху, разве могли отводить время обучению и наставлению? К тому же, думается мне, большинство наших ораторов едва ли не сильнее дарованием, нежели ученостью, и поэтому они лучше умеют говорить сами, чем учить других, тогда как я, пожалуй, наоборот. — «Но преподавать — занятие недостойное». — Конечно, ежели преподавать, как в школе; но если давать советы, поощрять, расспрашивать, помогать, а то и читать и слушать вместе с учениками, и если этим можно их сделать лучше, то зачем отказываться от преподавания? Или выучить слова, какими отрекаются от святых, — это достойно (а это действительно достойно), а слова, какими можно сберечь и защитить самые 145 святых, — недостойно? — «Но право объявляют своей специальностью даже те, кто его не знают; а красноречие даже те, кто в нем искусен, стараются скрывать, оттого что на опытных людей все смотрят с уважением, а на речистых — с подозрением.» — Но разве можно скрыть красноречие? Разве оно исчезнет, если даже его скрыть? и приходится ли бояться, чтобы кто-нибудь не счел, что самому учиться этому великому и славному мастерству весьма достойно, а учить других — позорно? Но, может быть, другие и скрывают это, а я всегда открыто признавал, что учился красноречию. В самом деле, мог ли я это отрицать, если я еще юношей покинул родину и ради этой самой науки отправился за море, если дом мой был полон ученейших мужей, если наша речь, как кажется, сохранила следы научных занятий, если, наконец, всякому доступны наши сочинения? Чего же мне было стыдиться? разве только слабости своих успехов.

43. Во всяком случае, то, о чем я говорил ранее, считается достойнее обсуждения, чем то, о чем мне предстоит говорить.

<sup>147</sup> Именно, разговор пойдет о соединении слов и даже о счете и мере слогов; и если даже эти средства так необходимы, как мне кажется, то все

же они более яркие в речи, чем в поучении. Так бывает всегда, а здесь в особенности. Нам приятнее смотреть на вершину дерева, чем на его ствол и корни, однако без них оно не может существовать; то же самое и в великих науках. И хотя широко известный стих, что нельзя «стыдиться мастерства, каким владеешь ты», не позволяет мне скрывать, как приятны мне такие упражнения, и хотя эту книгу заставило меня написать твое желание, все же я должен был ответить тем, чьи возражения я мог предугадать. Но даже если все, что я говорил, не убедительно, то будет ли кто-нибудь настолько суров и жесток, чтобы не сделать мне снисхождения за то, что теперь, когда мои знания и речи стали в общественных делах бесполезны, я не предался праздности, которая мне чужда, не предался скорби, которой я противлюсь, но предпочел заняться науками? Они ввели меня некогда в судилище и в курию, они теперь услаждают меня дома, и не только такими средствами, о которых написана эта книга, но и много более значительными и важными; и если бы я в этом преуспел, то мои домашние занятия сравнялись бы с моими делами на форуме. Но вернемся к начатым рассуждениям.

<sup>149</sup> **[Соединение слов.] 44.** Размещаться слова будут или так, чтобы наиболее складно и притом благозвучно сочетались окончания одних с началом следующих; или так, чтобы самая форма и созвучие слов создавали своеобразную цельность; или, наконец, так, чтобы весь период заканчивался ритмично и складно.

Рассмотрим, что представляет собой этот первый прием, который, пожалуй, требует наибольшей тщательности. Он должен создавать как бы некое сложное построение, однако без усилия: старания могли бы здесь быть бесконечными и в то же время ребяческими. Так, у Луцилия Сцевола тонко попрекает Альбуция:

... Как легко твои слова расположены! Словно

Плитки в полу мозаичном сплелись в змеистый рисунок.

<sup>150</sup> Выступать наружу эта мелочная обработка сооружения никоим образом не должна.

Впрочем, искушенная опытом рука сама легко выработает правила сочетания. Ибо как глаз при чтении, так и мысль при произнесении будет заглядывать вперед, чтобы столкновение окончаний слов с началом следующих не создавало зияющих или жестких звучаний. Как бы ни были приятны и важны мысли, они оскорбят взыскательный слух, если будут поднесены в беспорядочных славах. В данном случае сам латинский язык настолько строг, что не найдется такого невежды, который не старался бы сливать гласные звуки. Даже Феопомпа упрекали за то, что он слишком ревностно избегал зияющих звуков, хотя и учитель его Исократ поступал так же. Но иначе делал Фукидид и сам Платон, писатель много славнейший, и притом не только в беседах — так называемых диалогах, где это делать приходилось нарочно, а и в речи к народу, в которой, по афинскому обычаю, восхвалял перед собранием тех, кто пал в сражениях, и которая имела такой Успех, что, как тебе известно, с тех пор произносится в этот день ежегодно. В ней не редкость стечение гласных, которого Демосфен почти повсюду избегает как погрешности.

45. Но пусть об этом судят греки, а нам при всем желании невозможно разъединять гласные в таких стечениях. Доказательство этому — известные речи Катона, при всей их неотделанности; доказательство этому — все поэты, кроме тех, которые то и дело допускают зияние, чтобы получился стих, как, например, у Невия: «Vos, qui accolitis Histrum fluvium atque algidum...»<sup>1</sup> и там же: «Quam nunquam vobis Grai atque bar-bari.. .».<sup>2</sup> Зато у Энния — лишь один раз: «Scipio invicte...», как и у нас самих: «Нос motu radiantis etesiae in vada ponti.. .».<sup>3</sup> Значит,



наши соотечественники часто не терпят и того, что греки хвалят. — Но к чему говорить о гласных? Ради легкости произношения часто слова сокращаются даже там, где нет стечения гласных; так, например, говорят: «multi-modis», «in vas-argenteis», «palm-et crinibus», «tecti-fragis». А что может быть большей вольностью, чем сокращать человеческие имена, чтобы они звучали складнее? Как мы говорим вместо «duellum» — «bellum» и вместо «duis» — «bis», так Дуэллиий, разгромивший пунийцев в морском бою, получил имя Беллий, хотя все его предки звались Дуэллиями. Часто слова сокращаются в угоду не обычаю, а слуху. Как твой предок Аксилла стал называться Ала, если не благодаря выпадению громоздкой буквы? А изящная манера латинской речи исторгла эту букву даже из слов «maxilla», «taxillus», «vexillum», «rauxillus». Кроме того, охотно соединяли слова при помощи слияния, например «sodes» вместо «si audes», «sis» вместо «si vis». А в одном слове «capsis» заключены целых три. Мы говорим «ain» вместо «aisne», «nequire» вместо «non quire», «malle» вместо «magis velle», «nolle» вместо «non velle», а иной раз и «dein» и «exin»

<sup>1</sup> Живущие у Истра и холодную [Усеявшие Скифию...]

<sup>2</sup> Кого для вас ни греки и ни варвары...

<sup>3</sup> С этим движением жар пассатов на зыби морские [Хлынет...]

вместо «deinde» и «exinde». И разве не чувствуется, почему мы говорим «cum filiis», «cum» же «nobis» не говорим и вместо этого употребляем «nobiscum»? Ведь если бы говорилось иначе, стечение букв звучало бы слишком неприлично, — как, например, и в настоящем случае, не поставь я между этими двумя словами частицу «же». Отсюда же произошло «tecum» и «tecum», а не «cum te» и «cum te»: чтобы походило на «nobiscum» и «vobiscum».

46. И все-таки некоторые порицают это, запоздало пытаюсь исправлять нашу старину. Так, вместо «deum atque hominum fides» они говорят «deorum». Думается, что они не позаботились узнать, дозволяет ли это обычай? Так, даже названный нами поэт, которому случалось делать и такие необычные стяжения, как «patris mei meum factum pudet»<sup>1</sup> вместо «teorum factorum» или «textitur, exitium examen rapit» вместо «exitiorum», не сказал в одном месте «liberum» (как мы обычно говорим «cupidos liberum» или «in liberum loco»), но выразился во вкусе этих господ: «Neque tuum umquam in gremium extollas liberorum ex te genus...»<sup>2</sup> и точно так же: «namque Aesculapi liberorum». А другой поэт в «Хрисе», напротив, употребил не только обычную форму стяжения «Cives, antiqui amici maiorum meum», но и слишком жесткую: «Consilium socii, augurium atque extum interpretes!»; он же, далее: «postquam prodigium horriferum, por-tentum pavos»<sup>3</sup>, хотя такое стяжение не принято обычаем во всех именах среднего рода. Действительно, хотя у того же писателя и есть выражение «nihilne ad te iudicium armum accidit»<sup>4</sup>. я не сказал бы «armum iudicium» так же уверенно, как говорю, вслед за цензорскими списками, «centuria fabrum» или «procum» вместо «fabrorum» и «procorum»; и уж подавно не скажу «duorum virorum iudicium» или «trium virorum capi-talium», или «decem virorum stlitibus iudicandis». Правда, Акции сказал: «Video sepulcra dua duorum corporum»<sup>5</sup>; но он же сказал: «mulier una duum virum»<sup>6</sup>. Мне известно, которая форма правильна; тем не менее, в одних случаях я говорю, как позволяет обычай, безразлично «pro deum» или «pro deorum», а в других случаях непременно «trium virum», а не «virorum», и «sestertium, minimum» вместо «sestertiorum, nummorum», ибо здесь обычай не допускает колебаний.

47. И можно ли запрещать нам говорить «nosse, iudicasse» и требовать только «novisse, iudicavisse»? словно мы и не знаем, что в этом случае полная форма будет правильнее, а сокращенная употребительнее. Так, у Теренция встречаются

<sup>1</sup> Отца и дел моих стыжусь...  
<sup>2</sup> И не примешь ты на лоно род рожденных тобой детей.. .  
<sup>3</sup> О граждане, друзья мои наследные, Советники мои, мои гадатели! Когда явилось знаменье ужасное...

<sup>4</sup> Ты не слыхал о распре за оружие? ..

<sup>5</sup> Я видел две гробницы двух усопших... <sup>6</sup> Одна жена двоих мужей...

363обе: «Eho tu, cognatum tuum non noras?» и далее: «Stilponem, inquam, noveras?». «Sient»—полная форма, «sint»—сокращенная, употребительны же обе: например, там же: «Quam cara sint quae post carendo intellegunt, Quamque attinendi magni domi-natus sient»<sup>2</sup>. Я не могу осудить и слов «scripsere alii rem» <sup>3</sup>: я чувствую, что «scripserunt» — правильное, но охотно следую обычаю, более приятному для слуха. «Idem campus habet», сказал Энний, а в храмах пишут: «Idem probavit»; «isdem» — более правильная форма (однако не «eisdem» — это слишком протяженно), но она плохо звучит — и вот обычай позволяет совершать погрешности в угоду благозвучию. Я охотнее сказал бы «posmeridiana, quadriga», чем «postmeridiana, quadriuga», и «mehercule», чем «mehercules». «Non scire» уже кажется варварским, «nescire» звучит приятнее. Да и самое слово «meri-dies» почему бы не произносить «medidies»? Право, лишь по-158 тому, что это было бы неблагозвучно? Крайне неблагозвучна и приставка «af», которая уже теперь сохраняется только в приходе-расходных книгах, да и то не во всех, в разговорной же речи изменяется: так, мы говорим «amovit, abegit, abstulit», и даже не знаешь, что из этого правильнее: «a» или «ab» или «abs». Мало того, даже «abfugit» уже кажется некрасивым, и вместо «abfer» предпочитают говорить «aufer» — приставка, нигде, кроме этих двух слов, не встречающаяся. Были слова «noti, navi, nari», но когда пришлось к ним прибавить приставку «in», оказалось приятнее говорить «ignoti, ignavi, ignari», а не так, как требовала правильность. Говорят «ex usu» и «e re publica», оттого что первое слово начиналось с гласной, а второе прозвучало бы шероховато, если бы мы перед ним не выбросили букву; то же самое и в словах «exegit, edixit». В словах «refecit, rettulit, reddidit» первая буква соединяемого слова изменяет приставку: то же самое в словах «subegit»,<sup>159</sup> «summovit», «sustulit». 48. А как хорошо говорить в сложных словах «insipientem» вместо «insapientem», «iniquum» вместо «inaequum», «concisum» вместо «concaesum»! Оттого-то некоторые хотят даже говорить «pertisum», что, однако, несогласно с обычаем. А что может быть изящнее следующего приема, установленного не природой, а неким обыкновением: в слове «indoctus» первая буква краткая, а в слове «insanus» протяженная, в слове «inhumanus» — краткая, а в «infelix» — долгая; короче говоря, первая буква растягивается в тех словах, какие начинаются с тех же букв, что и «sapiens» и «felix», а во всех остальных произносится кратко. То же самое в словах «composuit, consuevit, concrepuit, confecit».

<sup>1</sup> — Двоюродного брата ты не знаешь? — Стилпона, говорю, ты знаешь?

<sup>2</sup> Утратив, зрят, сколь дорога утрата им И сколь была достойна обладания.

..

<sup>3</sup> ... описали иные предмет...

Сверься с правилами — они осудят, обратись к слуху — он одобрит; спроси, почему так, — он скажет, что так приятнее. А речь должна именно услаждать слух.

Я и сам, зная, что наши предки употребляли в своей речи придыхания только при гласных, говорил, например, «pulser, Cetegus, triumphus, Cartago»; но

потом, хоть и запоздало, требования слуха заставили меня отбросить правильность, и я уступил общему обыкновению в разговоре, оставив свое знание при себе. А такие слова, как «orcivos, Matones, Otones, Caepiones, sepulcra, coronas, lacrimas» у нас остались, ибо суждение слуха это позволяет. Энный всегда писал «Burrus», никогда «Pyrrhus»; «Vi patefecerunt Bruges», а не «Phryges», как свидетельствуют его старые книги. У них тогда не было греческих букв, а у нас есть целых две; и хотя необходимость говорить «phrygum» и «Phrygibus» ведет к нелепости — приходилось употреблять в варварском падеже греческую букву и только в прямом падеже сохранять греческую форму, — мы все же говорим «Phryges» и «Pyrrhus» в угоду слуху.

Более того, сейчас кажется грубым, а некогда было очень изящным от слов, оканчивающихся теми же двумя буквами, что и «optimus», отбрасывать последнюю букву, если за ней не следовала гласная. Это не пугало и в стихах, хотя теперь молодые поэты этого и избегают. Мы говорили «qui est omnibu— princeps», а не «omnibus princeps» и «vita illa dignu—locoque», а не «dignus». А если безыскусственный обычай так мастерски достигает приятности, чего же нам требовать от науки и искусства красноречия?

Обо всем этом я мог бы сказать и подробнее, если бы только это было моим предметом, — ведь такая тема позволяет широко рассмотреть природу и употребление слов, — но я и так говорил дольше, чем этого требует поставленная нами задача.

49. Но так как о предметах и словах суждение принадлежит разуму, а звукам и ритму судья слух, и так как первое обращается к сознанию, а второе служит наслаждению, — там искусство достигается рассудком, здесь чувством. Поэтому мы должны или пренебречь желаниями тех, чьего одобрения мы ищем, или найти способ их удовлетворить.

Две есть вещи, ласкающие слух: звук и ритм. Сейчас я скажу о звуке, тотчас затем — о ритме.

Слова, как было сказано, должны отбираться как можно более благозвучные, но почерпнутые все же из обычной речи, а не только изысканно звучащие, как у поэтов. «Qua pontus Helles, supera Tmolum ac Tauricos» — этот стих блещет великолепными названиями местностей, зато следующий запятнан неблагозвучнейшей буквой: «fines, frugifera et efferta arva<sup>164</sup> Asiae tenet»<sup>1</sup>. Поэтому будем предпочитать добротность наших слов блеску греческих, чтобы не пришлось стыдиться такой речи: «Qua tempestate Helenam, Paris. . .»<sup>1</sup> и т. д. Так мы и будем поступать, избегая, однако же, таких шероховатостей, как «habeo istam ego perterrificam»<sup>2</sup> или «versutiloquas mali-tias»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> За Геллеспонтом, Тмолем и Таврийскими Горами он царит над пышной Азией

**[Созвучие отрезков.]** Закономерность следует соблюдать не только в сочетаниях слов, но и в завершениях, ибо в этом состоит указанное нами второе требование слуха. Завершения получаются или как бы произвольно — самим расположением слов, или же с помощью таких слов, которые сами по себе образуют созвучия. Имеют ли они сходные падежные окончания, или соотносят равные отрезки, или противопоставляют противоположности, — такие сочетания уже по собственной природе ритмичны, даже если к ним ничего не прибавлено намеренно. В стремлении к такому созвучию, говорят, первым был Горгий; к этому роду относятся наши слова в речи за Милона:

«Est enim, iudices, haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accipimus, legimus, verum ex natura ipsa arripimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus»<sup>4</sup>. В этой фразе все, что надо, соотносится с тем, с чем надо, и уже по этому самому кажется, что ритм

здесь не выисканный, а явившийся сам собой. То же самое происходит и при сопоставлении противоположностей: таковы следующие примеры, в которых речь не только ритмична, но даже образует стих: «Earn, quam nihil accusas, damnas (чтобы избежать стиха, следовало бы сказать «condemnas») bene quam meritam esse autumas. Male merere: id quod scis prodest nihil, id quod nescis obest?»<sup>5</sup> Стих здесь образован самым соотношением противоположностей. В прозе здесь был бы такой ритм: «quod scis, nihil prodest, quod nescis, multum obest». 50. Так и всегда то, что греки называют антитезой, то есть противопоставление противоположностей, с неизбежностью само собой образует ораторский ритм, и притом без всякой искусственности. Этим приемом наслаждались древние еще до Исократы, в особенности же тот Горгий, в чьей речи обычно сами созвучия порождают ритм. Мы и сами часто этим пользовались, например, в четвертой речи нашего обвинения: «Сравните этот мир и ту войну, прибытие этого претора и победу того полководца, нечестивую смуту одного и непобедимое войско другого, разнузданность одного и умеренность другого: вы скажете, что захвативший Сиракузы был их основателем, а принявший благоустроенный город был захватчиком».

<sup>1</sup> В те дни, когда еще Парис с Еленюю.....

<sup>2</sup> Этот громогрохочущий...

<sup>3</sup> ... хитросплетенные коварства...

<sup>4</sup> Есть, о судьи, такой закон: не сочиненный, а прирожденный; его мы не выучили, не унаследовали, не вычитали, но от самой природы позаимствовали, почерпнули, извлекли; не воспитались в нем, а родились, не образовались им, а прониклись.

<sup>5</sup> Ее, не оправдав, ты осудил ее, хоть и твердишь, что она достойна лучшего. Сам ты достоин худшего: все, что ты знаешь, говорит не за тебя, а все, чего ты не знаешь, говорит против тебя.

**[Ритм: введение.]** Итак, допустим, что мы познакомились и с этими ритмами: теперь выясним, что собой представляет третий вид ритмичной и складной речи. Кто его не чувствует, у того не знаю, что за уши и чем он вообще похож на человека. Во всяком случае, мой слух радуется законченным и полным периодам, ощущает кургузые и не терпит растянутых. Но зачем говорить обо мне? Я видел, как целые собрания встречали одобрительными криками складно оконченные фразы. Ведь слух ожидает, чтобы мысль была представлена стройными словами.

«Но этого не было у древних!» Да, только этого, пожалуй, и не было: ибо и слова они умели отбирать, и мысли находить важные и приятные, но мало заботились об их связности и<sup>169</sup> полноте. «Это-то мне и нравится», — говорят некоторые. — Что ж, если старинная живопись с малым количеством красок славится больше, чем нынешняя, усовершенствованная, то, может быть, мы должны вернуться к древней и, уж во всяком случае, отвергнуть новую? Они хвалятся именами древних: ведь как среди возрастов наиболее почтенна старость, так среди образцов — древность. Я сам ценю ее очень высоко; и я не требую от древности того, чего в ней нет, а хвалю то, что в ней есть, тем более, что, на мой взгляд, то, что в ней есть, важнее, чем то, чего в ней нет: ибо больше достоинства в словах и мыслях, которыми они замечательны, чем в закругленности фраз, которой они не имеют. 51. Эта закругленность была изобретена позже, но я полагаю, что и древние применяли бы ее, если бы этот прием был уже известен и в ходу; а после его изобретения им пользовались, как мы видим, все великие ораторы.

Тем не менее, когда мы говорим, что в той или иной судебной или политической речи имеется ритм, само это слово вызывает недовольство. Кажется, что если сам оратор стремится в речи к ритму, этим он прилагает слишком уж много стараний к тому, чтобы пленить слух. Основываясь на этом, эти люди и сами говорят отрывистыми и обрубленными фразами, и порицают тех, кто ведет речь складно и законченно. Такие порицания справедливы, если в этой речи слова пустые и мысли легковесные; но если в ней достойное содержание и отборные слова, то почему они предпочитают, чтобы речь хромала и спотыкалась, а не шла вровень с мыслью? Ведь этот пресловутый ритм ничего иного не означает, кроме того, что слова складно охватывают мысль; а это было также и у древних, но по большей части — случайно, а часто — благодаря природному чутью; и то, что у них особенно хвалят, 171 почти всегда хвалят как раз за закругленную форму. У греков этот прием пользуется признанием по крайней мере около четырехсот лет, а мы его только недавно усвоили. И если Энний мог говорить в осуждение своим предшественникам:

Тем стихом, каким вещуны певали да фавны, —

то почему мне нельзя таким же образом отозваться о древних? ведь я даже не собираюсь сказать, как он:

.. .Прежде, чем я не открыл иной,—

ибо я и читал и слышал таких ораторов, речь которых закруглялась почти с совершенством. Но тем, кто на это не способен, мало того, что их не презирают: они требуют, чтобы их хвалили. Тех писателей, которых они объявляют своими образцами, я готов хвалить, хотя и сознаю их недостатки; однако самих подражателей хвалить не за что, потому что они перенимают только слабости образцов и совершенно чужды их достоинств.

Но что делать, если слух их так нечеловечески груб, что на них не действует даже авторитет самых ученых мужей? Не говорю об Исократа с его учениками Эфором и Навкра-том, хотя эти изобретательнейшие творцы разработки и украшения речи должны были и сами быть величайшими ораторами. Но кто же всех ученее, всех пронзительнее, всех строже в изобретении и оценке, если не Аристотель, который к тому же был непримиримым врагом Исократа? Между тем и он стиха в речи не допускает, ритма же требует. Его слушатель Феодект, писатель изящный, по мнению самого Аристотеля, а также и теоретик, думает так же и дает такие же советы; а Феофраст говорит о том же самом с еще большей обстоятельностью. Так можно ли мириться с теми, кто не признают этих авторитетов? разве только они вообще не знают об этих наставлениях. А если это так — иначе я не могу и думать, — то неужели им не подсказывает того же собственное чутье? Неужели они не ощущают ни пустот, ни недоделок, ни кургузости, ни спотыкливости, ни растянутости? Целый театр поднимает крик, если в стихе окажется хоть один слог дольше или короче, чем следует, хотя толпа зрителей и не знает стоп, не владеет ритмами и не понимает, что, почему и в чем оскорбило ее слух; однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготам и краткостям звуков, так же как и к высоким и низким тонам.

52. Так хочешь ли ты, Брут, чтобы мы изъяснили этот вопрос даже более подробно, чем те, от кого мы почерпнули свои знания? или же можно удовольствоваться сказанным этими последними? Но зачем я спрашиваю о твоём желании, если сам я вижу по твоему ученому письму, что именно этого ты хочешь больше всего? В таком случае мы прежде всего изъясним происхождение, затем причину, затем сущность и, наконец, самое употребление речи складной и ритмичной.

**[Ритм: происхождение.]** Те, кто восхищаются Исократом, вменяют ему в высшее достоинство то, что он первый ввел ритмы в беспорядочную речь.

Говорят, что он, увидав, с какою суровостью слушают ораторов и с каким удовольствием — поэтов, обратился к ритмам и стал ими пользоваться в речах как для приятности, так и для того, чтобы развеять скуку

<sup>175</sup> разнообразием. Отчасти этот рассказ верен, но не целиком. Действительно, нельзя не признать, что Исократ превзошел всех своей ученостью в этом роде, однако первым изобретателем был Фрасимах, чьи сохранившиеся сочинения все по-казывают даже чрезмерную заботу о ритме. К тому же, я уже сказал, что соединять равное с равным, вводить сходные окончания и соотносить противоположное с противоположным, что само собой и без всякого старания обычно создает ритмическую завершенность, первым стал Горгий, но пользовался этим неумеренно. Это, как было сказано, второй вид сочетания слов из трех перечисленных. Оба они были старше Исократа, так что он опередил их не в изобретении, а в искусном владении. В самом деле, насколько он осторожнее в переносных выражениях и в сочинении новых слов, настолько же он сдержаннее и в отношении ритма. Горгий был слишком равнодушен к этому роду и, по его собственным словам, без меры злоупотреблял его красотами; Исократ же, хотя и слушал еще мальчиком в Фессалии престарелого Горгия, распоряжался ими с умеренностью. Более того, чем старше он становился, — а прожил он почти сто лет, — тем больше он освобождался от излишней навязчивости ритмов, и сам об этом заявлял уже глубоким стариком в сочинении, посвященном Филиппу Македонскому, где он говорит, что уже не так служит ритмам, как обычно служил. Так совершенствовал он не только своих предшественников, но даже самого себя.

**[Ритм: причина.] 53.** Теперь, зная, что творцами и начинателями складной речи были названные нами писатели, и выяснив таким образом происхождение ритма, обратимся к его причине. Она настолько ясна, что удивительно, как на нее не обратили внимания древние, тем более что и они, как это бывает, нередко случайно говорили закругленно и складно. А раз это задевало душу и слух людей, так что легко было заметить, как приятно прозвучал произвольно вылившийся оборот речи, то следовало бы запомнить этот прием и

<sup>178</sup> подражать самим себе. Ибо слух, а через слух — и душа обладает некой прирожденной способностью измерять все звуки. Поэтому она различает долготы и краткости и всегда требует совершенства и меры; чувствует все оборванное и как бы кургузое, оскорбляясь этим, словно не сполна полученным долгом; чувствует растянутость и как бы чрезмерную разго-нистость, которая еще больше раздражает ухо — ибо и здесь, как почти везде, излишество оскорбляет сильнее, чем недостаток. Итак, как поэзия и стих явились благодаря способности слуха к мере, замеченной проницательными людьми, так и в прозе, хотя и много позже, но по указанию той же природы была замечена наличность определенного движения и закруглений слов.

**[Ритм: сущность.]** Итак, мы показали причину ритма, теперь, пожалуй, изъясним его сущность — это шло у нас третьим. Впрочем, это рассуждение относится не к нашему разговору, а к более узкому искусству. Действительно, можно спросить, что такое ритм речи, в чем он заключается, откуда происходит, существует ли один его вид, или два, или много, и к чему, когда и где его следует применять, чтобы вызвать удовольствие. Но, как во многих вещах, здесь возможны два пути рассмотрения, из коих один длиннее, другой короче и к тому же легче. 54. На более длинном пути первый вопрос: существует ли вообще ритмическая проза? Некоторые не признают ее таковой, потому что в ней

нет ничего столь же определенного, как в стихах, и потому что те, кто утверждает существование таких ритмов, не могут отдать себе отчета, чем оно обусловлено. Далее: если есть в прозе ритм, то какой или какие, и из числа стихотворных ритмов или иных, а если из числа стихотворных ритмов, то какой или какие: ибо одним кажется, что применяется только один ритм, другим — что многие, третьим — что все, какие есть в поэзии. Далее: являются ли эти ритмы (один или много, каковы бы они ни были) общими для всех родов речи или каждому роду соответствуют различные ритмы, ибо одно дело — род повествующий, иное — род убеждающий, иное — род поучающий; если они общие, то каковы они, если же различные, то в чем между ними разница и почему не одинаково проявляется ритм в прозе и в стихах. Далее: зависит ли так называемая ритмичность речи только от ритма или также от расположения слов и подбора их, или каждое средство действует само по себе, так что ритм проявляется в паузах, расположение слов — в сочетаниях звуков, а самый подбор слов являет собой как бы некий образ и красоту речи, общим же источником всего является расположение слов, от которого происходит и ритм и те образы и красоты речи, которые, как сказано, именуются у греков *охпмата*. Однако не одно и то же придает звукам приятность, размеренности — правильность и подбору слов — красоту: правда, украшения речи тесно связаны с ритмом, так как обычно сами в себе несут ритмическую законченность; что же касается расположения, то оно отлично и от того и от другого, ибо целиком служит важности или приятности звучания. Вот приблизительно каковы вопросы, в которых следует искать сущность ритма.

**[Ритм в целом.] 55.** Некоторый ритм в прозаической речи существует, и это установить нетрудно: его распознает ощущение. Как несправедливо отрицать ощущаемое только потому, что мы не можем объяснить его причины! Ведь и самый стих был открыт не рассудком, а природой и чувством, а размеряющий рассудок объяснил, как это произошло. Так наблюдательность и внимание к природе породили искусство. Но в стихах это более явно, хотя и стихи, если от их поэтической мерности отнять напев, покажутся беспорядочной прозой: особенно у лучших из тех поэтов, которых греки называют лириками и стихи которых, лишась напева, представляют собой почти что голую прозу. Нечто подобное есть и у наших поэтов, как, например, в «Фиесте»: «*Quern te esse dicam? quid tarda in senectute*»<sup>1</sup> — и т. д.: не подыгрывай при этом флейтист, это было бы совершенное подобие прозы. А сценарии комиков по своей близости к разговорной речи бывают порой до того небрежны, что в них едва можно угадать ритм и стих. Поэтому обнаружить ритм в прозе еще труднее, чем в стихах.

Есть два средства придать речи красоту: приятность слов и приятность ритмов. Слова как будто представляют собой какой-то материал, а ритм — его отделку. Но как и во всем остальном, здесь более древние изобретения были вызваны необходимостью, более поздние — стремлением к удовольствию.

Так и Геродот со своими современниками и предшественниками не пользовался ритмом — разве что случайно и наудачу; так и древнейшие писатели, оставив нам много риторических предписаний, совершенно умалчивают о ритме — ибо всегда познается прежде то, что легче и нужнее; (56) так и слова переносные, сочиненные, сопряженные усваивались легко, ибо заимствовались из привычной повседневной речи, а ритм не лежал под рукой и не имел с прозаической речью ни связи, ни родства. Поэтому, замеченный и признанный несколько позже, он как бы послужил для речи палестрой, придав ей окончательный облик.

Таким образом, если одна речь представляется сжатой и отрывистой, а другая пространной и расплывчатой, то это очевидно должно зависеть не от свойства букв, а от разнообразия долгих и коротких пауз. Если речь, в которую они вплетены и вмешаны, бывает то устойчивой, то текучей, то причина этого должна неизбежно заключаться в ритмах. Ведь и самый период, о котором мы не раз говорили, в зависимости от ритма несется и спадает все стремительнее, пока не дойдет до конца и не остановится.

**[Стопы.]** Итак, очевидно, что речь должна быть связана <sup>188</sup> ритмом, но чуждаться стихов. Теперь следует установить, стихотворные это ритмы или какие-нибудь иные. Однако нет ритмов, кроме стихотворных, так как число их ограничено тремя родами: все стопы, из которых образуются ритмы, бывают трех видов — ибо неизбежно одна часть стопы или равна другой части, или в два, или в полтора раза больше ее. При равной длительности получается дактиль, при двойной — ямб,

<sup>1</sup> Кем назвать тебя? В поздней старости..

371 при полуторной — пеан. Как же могут эти стопы не встречаться в прозаической речи? А располагаясь в определенном порядке, они неминуемо создают ритмичность.

Но, спрашивается, каким ритмом или какими ритмами предпочтительно следует пользоваться? Что все они попадают в речи, это видно уже из того, что даже в прозаической речи мы часто нечаянно произносим стих. Это — большая погрешность, но ведь мы не прислушиваемся сами к себе и не обращаем внимания на свою речь. Сенариев и гиппонактовых стихов мы вряд ли даже сможем избежать, ибо известно, что наша речь в значительной части состоит из ямбов; но слушатель охотно принимает такие стихи, ибо они очень привычны. По неосмотрительности, однако, мы часто вставляем и менее привычные, но все же стихи, • — а это уже тяжелый недостаток, которого следует избегать с крайней осторожностью. Иероним, один из самых известных философов-перипатетиков, отыскал в многочисленных сочинениях Исократов около тридцати стихов, главным образом сенариев, но также и анапестов: что может быть позорнее? Впрочем, в своей выборке он поступал нечестно: отбрасывал первый слог первого слова фразы и зато присоединял к последнему слову первый слог следующей фразы: получался анапестический стих, именуемый аристофановым; остережся от таких случайностей невозможно, да и не нужно. Но этот критик в том самом месте, где выражает свое порицание, как я обнаружил при внимательном разборе, сам не замечает, как допускает в собственной речи сенарий. Итак, следует считать установленным, что и прозаическая речь содержит в себе ритмы и что ритмы ораторские тождественны ритмам стихотворным.

57. Вслед за этим надо рассмотреть, какие ритмы более всего подходят для складной речи. Некоторые полагают, что таков ямб, потому что он больше всех похож на прозу и из-за этого-то сходства с действительностью и применяется в драме, тогда как дактилический ритм более удобен для торжественных гекзаметров. Эфор, легковесный оратор, однако выходец из превосходной школы, придерживается пеана или дактиля, но избегает спондея и трибрахия. Так как в состав пеана входят три кратких слога, а в дактиль два, то благодаря краткости слогов и быстроте произношения такие слова, по его мнению, льются более плавно, тогда как в спондее и трибрахиях получается обратное: оттого, что первый состоит из одних долгих, а второй из одних кратких, в последнем случае речь оказывается слишком торопливой, в первом — слишком замедленной, и ни та, ни другая не соблюдают меры.



Но и представители такого мнения ошибаются, и Эфор неправ. Ибо те, которые обходят пеан, не замечают, что оставляют в стороне размер чрезвычайно гибкий и в то же время чрезвычайно величественный. Далек не таков взгляд Аристотеля, который считает, что героический размер слишком величав для прозы, а ямб слишком близок к разговорному языку. Таким образом, он не одобряет ни низменной и небрежной речи, ни слишком высокой и напыщенной, однако настаивает, чтобы она была исполнена такой важности, которая приводила бы слушателей в тем большее восхищение.

Трибрах же, по длительности равный хорею, он называет кордаком, так как быстрота и краткость чужды достоинства. Таким образом, он отдает предпочтение пеану и говорит, что им пользуются все, сами того не замечая: пеан, по его мнению, есть третий размер, промежуточный между двумя другими, а вообще стопы бывают построены так, что в каждой из них имеется или полуторное, или двойное, или равное соотношение частей. Итак, те, о ком я раньше говорил, принимали в расчет лишь удобство произношения, но не достоинство речи. Действительно, и ямб и дактиль больше всего подходят к стиху: поэтому, избегая стихов в прозаической речи, мы должны избегать и повторения этих стоп, ибо проза есть нечто отличное от поэзии и меньше всего терпит стихи. Пеан, напротив, очень мало приспособлен к стиху, и тем охотнее им пользуется проза. А Эфор не сообразил, что спондей, которого он избегает, равен по длительности дактилю, который он одобряет: дело в том, что он считает мерою стопы не длительность, а количество слогов; то же самое и по отношению к трибраху, который длительностью времени равен ямбу и неуместен в прозе, если стоит на конце, потому что фразу лучше заканчивать долгим слогом. Так же, как и Аристотель, отзываются о пеане Феофраст и Феодект.

Я же полагаю, что в речи как бы перемешиваются и сливаются все стопы: ведь если мы будем пользоваться все время одной и той же, это не может не заслужить порицания, ибо речь не должна быть ни сплошь ритмичной, как стихотворение, ни чуждой ритму, как разговорная речь: первая так связана, что ее искусственность бросается в глаза, вторая же так беспорядочна, что кажется общедоступной и пошлой: если первая не доставит наслаждения, то вторая вы»

<sup>196</sup> зовет отвращение. Поэтому, как я сказал, речь должна смешивать и смягчать все ритмы и не быть ни беспорядочной, ни насквозь ритмичной: разнообразить же ее следует преимущественно пеаном, ибо таково мнение лучшего авторитета, а также и другими ритмами, о которых он умалчивает.

**[Сочетание стоп.] 58.** Теперь надобно сказать, какие размеры с какими следует смешивать, словно оттенки пурпурной краски, а также какой из них к какому роду речи наиболее приспособлен. Ямб, например, чаще всего встречается в таких речах, которые излагаются скромным и простым языком, пеан в более возвышенных, дактиль и в тех и в других. Поэтому в разнообразной и продолжительной речи эти размеры должны смешиваться и умерять друг друга: тогда наименее заметна будет погоня за приятностью и намеренная отточенность речи. Еще легче будет ее скрыть, если мы воспользуемся значительными выражениями и мыслями. Именно на них, то есть на выражения и мысли, обращают внимание слушатели и в них находят наслаждение; и между тем как они воспринимают их с напряженным вниманием и восхищением, ритм ускользает от них и остается незамеченным, хотя без него то же самое содержание меньше бы им понравилось. Однако это течение ритмов — я говорю о прозе, в стихах дело обстоит совсем иначе — не должно быть ничем не нарушаемо, иначе получились бы стихи; достаточно и для ритмической речи,

чтобы она продвигалась вперед ровно и устойчиво, не колеблясь и не хромя. В ораторской речи ритмичностью считается не то, что целиком состоит из ритмов, а то, что более всего приближается к ритмам. Поэтому проза даже труднее стихов, ибо там есть известный твердо определенный закон, которому необходимо следовать, в речи же ничто не установлено наперед, кроме того, что она не должна быть ни чуждой мерности, ни слишком стесненной, ни беспорядочной, ни расплывчатой. Поэтому здесь не приходится отбивать такт, как при игре на флейте, но весь период в целом и самая форма речи закончены и замкнуты, и распознается это по наслаждению, ощущаемому слухом.

59. Обычно ставится вопрос: во всем ли периоде следует выдерживать ритм или только в начальных и конечных его частях? Большинство полагает, что ритмической должна быть только заключительная, последняя часть фразы. Действительно, ритм уместен преимущественно здесь, но не только здесь, ибо весь период должен быть плавно положен, а не беспорядочно брошен. Так как слух всегда с напряжением ожидает концовки и на ней успокаивается, в ней нельзя обойтись без ритма; но к этому исходу должен стремиться с самого начала весь период, и на всем своем протяжении от истока протекать так, чтобы, подойдя к концу, он сам собой останавливался. Впрочем, это не будет слишком трудно для тех, кто прошел хорошую школу, кто много писал, и даже то, что говорил без письменной подготовки, обрабатывал наподобие написанного. Ведь сначала в уме намечается мысль, тотчас затем сбегаются слова, и ум с несравненной быстротой рассыпает их на свои места, чтобы каждое откликнулось со своего поста. Этот намеченный строй в разных случаях замы-, кается по-разному, но все слова — и начальные, и средин-<sup>201</sup>ные — всегда должны равняться на концовку. Иногда речь несется стремительным бегом, иногда — сдержанной поступью, так что с самого начала следует предусмотреть, каким темпом ты намерен подойти к концу.

Однако пользуясь в речи теми же средствами, что и поэты, мы избегаем при этом сходства со стихотворениями. Это относится не только к ритму, но и к другим украшениям речи. Действительно, и в прозе и в стихах имеется материал и его обработка: материал в словах, обработка в расположении слов. 60. То и другое распадается на три вида: слова бывают переносные, новообразованные, старинные (о словах в собственном значении мы здесь не говорим); в расположении, как было оказано, различаются сочетание слов, созвучие отрезков и ритм.

Но поэты применяют то и другое шире, свободнее: переносные выражения у них чаще и смелее, архаизмами они пользуются охотнее, в новообразованиях вольнее. То же происходит и с ритмами, к которым их словно понуждает непреложный закон. Однако легко убедиться, что разница здесь невелика и некоторая связь имеется. Поэтому ритм в стихах и прозе не- одинаков, и то, что в прозе называется ритмичным, не всегда создается ритмом, но иногда также созвучием и построением

слов.

Итак, если спрашивается, какие ритмы свойственны прозе, мы ответим: все, но одни более хороши и удобны, другие менее. В каком месте? — в любой части фразы. Откуда они произошли?—из стремления к наслаждению слуха. Как они соединяются?—об этом будет сказано в другом месте, ибо это относится к употреблению, которое составляет четвертую и последнюю часть нашего разделения. Чему они служат? — наслаждению. Когда применяются?—всегда. Где?—на всем протяжении периода. Чем они порождают наслаждение? — тем же, что и стихи; как и в стихах,

меру здесь находит искусство, но и без искусства ее определяет бессознательное чутье самого слуха.

**[Ритм: употребление.] 61.** Достаточно о природе ритма: очередь за употреблением, о котором следует поговорить подробнее. Здесь спрашивается, на всем ли протяжении речевого отрезка (именуемого у греков периодом, а у нас то охватом, то отрезком, то кругооборотом, то последовательностью, то очерком) следует выдерживать ритм, или только в начале, или только в конце, или в начале и в конце? Далее, так как ритм и ритмичность — не одно и то же, в чем между ними разница? <sup>205</sup> Затем также, при всех ли ритмах следует разбивать фразу на равные отрезки, или надо делать одни короче, а другие длиннее, и когда, и почему? следует ли эти отрезки связывать сразу по нескольку или применять поодиночке, различные или равные, и когда какие? какие из них лучше всего сочетаются друг с другом и как, или здесь вообще нет различия? что важнее всего из тех средств, какими речи придается ритм? <sup>206</sup> Следует также объяснить, что придает словам стройность, сказать, какой длины надлежит строить периоды, поговорить об их частях и как бы отрезках, поставить вопрос, один ли возможен вид и одна ли величина этих отрезков, или несколько, а если несколько, то когда и где надлежит пользоваться каждым видом. Наконец, надлежит объяснить пользу ритма в целом — а она очень широка, ибо ритм служит не одной какой-нибудь цели, а сразу многим.

Но ведь можно, не отвечая на эти вопросы порознь, обо всем предмете в целом говорить так, чтобы получились достаточные ответы и на отдельные вопросы. Таким образом, оставив в стороне прочие виды прозы, мы выбрали предметом нашей беседы только один — тот, который применяется в судах и на форуме. В остальных же видах — именно в истории и так называемом эпидиктическом красноречии — можно все говорить и по образцу Исократы и Феоппа, чтобы речь в периоде катилась, как по кругу, приостанавливаясь после отдельных завершенных и законченных мыслей.

Поэтому с тех самых пор, как явились на свет эти очерки, охваты, последовательности или, если угодно, кругообороты слов, ни один сколько-нибудь значительный оратор, составляя речь, предназначенную для наслаждения и чуждую судебным и политическим прениям, не боялся почти полностью подчинять свои мысли порядку и ритму. И его слушатель, не опасаясь, что искусно составленная речь будет тайно покушаться на его совесть, бывал только благодарен оратору, готовому служить усладе его слуха.

62. Для судебных дел этот род красноречия нельзя ни целиком принять, ни совершенно отвергнуть: если им пользоваться постоянно, то, с одной стороны, он вызывает пресыщение, с другой — его сущность легко распознается даже неискушенными; кроме того, он лишает речь страстности, убивает сочувствие в слушателях и совершенно уничтожает правдоподобие и убедительность. Но так как иногда этот род красноречия все же применим, то следует рассмотреть прежде всего, где, затем — сколь долго и, наконец, сколько есть способов перейти от этого рода к другому.

<sup>210</sup> Итак, ритмическая речь применима там, где приходится или что-нибудь восхвалять с особенной пышностью — так мы с похвалой говорили во второй части нашего обвинения о Сицилии, или в сенате — о нашем консульстве; или вести повествование, требующее больше достоинства, чем страсти, — так мы говорили в четвертой части обвинения об энской Церере, о сегестинской Диане, о местоположении Сиракуз. Часто также и при развертывании темы речь

разливается плавно и ритмично к общему удовольствию. Мы, быть может, и не достигли в этом совершенства, но, по крайней мере, не раз предприни-

мали такие попытки: свидетельством наших желаний и усилий служат многие места в заключительных частях наших речей. Это средство годится тогда, когда слушатель уже побежден оратором и находится в его власти: он более не остерегается коварства, но уже расположен к оратору, жаждет продолжения речи, восхищается ее силой и не ищет, к чему бы придаться.

Однако речь такого рода не следует затягивать надолго: разве что в заключениях, которые целиком ей подвластны, но никак не в остальных частях речи. Поэтому если в указанных мною местах и допустимо ею пользоваться, то далее необходимо перестроить изложение, переделав его в то, что греки называют коммами и колонами, а мы по справедливости могли бы назвать отрезками и членами. Ведь если предметы неизвестны, у них не может быть названий; но так как мы привыкли пользоваться переносными выражениями для наслаждения или по недостатку слов, то во всех науках по необходимости приходится, называя предмет, ранее вследствие неизвестности не имевший имени, или создавать новое слово, или заимствовать его у сходного понятия.

**[Использование клаузул.]** 63. Каким образом следует говорить, деля речь на отрезки и члены, мы скоро увидим; а теперь надо сказать, сколько есть способов разнообразить ритм в периодах и в их закруглениях. Ритм, вообще, течет то быстрее, благодаря краткости стоп, то медлительнее, благодаря долготе. Быстрота требуется главным образом в споре, медлительность — в рассказе. Заканчиваться период может различными способами, из которых один имел особенный успех в Азии. Это так называемый дихорей, когда две последние стопы суть хорей (т. е. стопы, состоящие из долгого и краткого, — это пояснение необходимо, ибо у разных авторов одни и те же стопы называются по-разному). Дихорей сам по себе вовсе не плох в окончаниях, но нет ничего хуже для ораторского ритма, чем постоянное повторение одного и того же размера. Сам по себе он звучит в концовках превосходно, и тем более следует страшиться пресыщения им. В моем присутствии народный трибун Гай Карбон, сын Гая, произнес в народном собрании такие слова: «O Marce Druse, patrem appello!»: это два отрезка по две стопы; затем по членам: «Tu dicere solebas sacram rem publicam»: здесь два члена по три; затем период: «Quicumque eam violavissent, ab omnibus esse ei poenas persolutas»: это дихорей, ибо долгота или краткость последнего слога безразлична; затем: «Patris dictum sapiens temeritas filii comprobavit»<sup>1</sup> — этот дихорей вызвал такой шум собрания, что радостно было смотреть: и причиной тому разве не ритм? Измени порядок слов, сделай так: «comprobavit filii temeritas» — и ничего не останется, хотя «temeritas» и состоит из трех кратких и долгого, что Аристотель считал наилучшим, и в чем я с ним не согласен. «Но слова те же, мысль та же». — Уму этого достаточно, а слуху недостаточно. Однако не следует применять дихорей слишком часто: ибо всякий ритм поначалу нравится, затем приедается, и когда обнаруживается его легкость, к нему начинают относиться с пренебрежением.

64. Но есть многочисленные окончания, закругляющиеся ритмично и приятно. Таков и кретик, состоящий из долгого, краткого и долгого, таков и однородный с ним пеан, равный ему по длительности, но имеющий слогом более; считается, что он очень удобно вплетается в прозаическую речь, тем более что он имеет две разновидности: он состоит или из долгого и трех кратких, и такой ритм полон силы вначале и падает к концу, или из стольких же кратких и долгого, — и такой ритм древние считали наилучшим в окончаниях, я же его не вовсе отвергаю, однако предпочитаю другие.

О Марк Друз — это к отцу я обращаюсь!—ты всегда говорил, что республика священна, и кто бы на нее ни посягнул, он должен быть **покаран** всеми. Мудрое слово отца подтверждено безрассудностью сына.

Не следует совершенно отбрасывать и спондей, хотя он кажется тупым и медлительным от того, что состоит из двух долгих: в нем все же есть некоторая твердость поступи, не чуждая достоинства, особенно в отрезках и членах, где тяжеловесностью и медлительностью он возмещает малочисленность стоп. Замечу, что, говоря о стопах окончаний, я имею в виду не только последнюю стопу, но присоединяю к ней по меньшей мере непосредственно ей предшествующую, а часто также и третью. Так, и ямб, состоящий из краткого и долгого, и трибрахий, имеющий три кратких и равный хорее (но равный

по длительности, а не по слогам), и даже дактиль, состоящий из долгого и двух кратких, находясь на предпоследнем месте, с достаточной плавностью течет к концу, если конец выражен хореем или спондеем — какая из этих стоп занимает последнее место, всегда безразлично. И, напротив, все эти три стопы дают плохое окончание, если какая-нибудь из них стоит на последнем месте: исключение составляет дактиль, заменяющий кретик — ведь на последнем месте нет разницы между дактилем и кретиком, ибо долгота или краткость последнего слога несущественны даже в стихе. Поэтому недоглядел и тот, кто объявил удобнейшим для окончаний пеан с долгим последним слогом, ибо долгота последнего слога безразлична. К тому же, пеан, имея свыше трех слогов, считается некоторыми даже не стопой, а сложным ритмом. Все же, согласно единодушному признанию древних — Аристотеля, Феофраста, Феодекта, Эфора, он наиболее удобен в начале или середине фразы; в конце, по их мнению, тоже, но мне здесь представляется более подходящим кретик. Что касается дохмия, состоящего из пяти слогов — краткого, двух долгих, краткого и долгого, например «amicos tenes», то он удобен на любом месте, но один

только раз, при повторении же двукратном или многократном он слишком открыто обнаруживает ритмичность и привлекает к ней внимание. 65. Итак, если мы воспользуемся всеми перечисленными столь различными способами менять ритм, то с одной стороны, нашу речь нельзя будет уличить в искусственности, а с другой стороны, этим удастся избежать пресыщения.

**[Использование расположения слов.]** Однако речь становится ритмической не только благодаря размеру, но также и благодаря расположению и, как выше было сказано, благодаря созвучию слов. Ритмичность, созданную построением, можно видеть тогда, когда слова строятся так, что ритм кажется не нарочитым, а естественно льющемся — например, у Красса: «Nam ubi libido dominatur, innocentiae leve praesidium est». Здесь порядок слов создает ритм без всякого явного усилия оратора. Так, если знаменитые древние писатели — я имею в виду Геродота, Фукидида и всех их современников — что-нибудь и сказали складно и ритмично, то этот ритм не был ими выискан, но явился из расположения слов. В самом деле, есть такие обороты речи, в которых созвучие с необходимостью влечет за собою ритм. Именно, когда соотносится сходное со сходным или противопоставляется противоположное с противоположным, или сопоставляются слова с похожими окончаниями, любое из таких завершений в большинстве случаев получается ритмическим: о явлениях такого рода мы говорили выше и приводили примеры; богатство их дает возможность избежать постоянного однообразия окончаний.

К тому же эти предписания не настолько строги и стеснительны, чтобы мы не могли при желании их смягчить. Большая разница, является ли речь ритмичной, то есть только напоминающей ритмы, или целиком состоит из ритмов:

последнее — несносный недостаток, первое же спасает речь от несвязности, неотделанности и расплывчатости.

[Использование отрезков и членов.] 66. Но так как в подлинных речах, в суде и на форуме, не часто, скорее даже редко приходится говорить периодически и ритмично, то теперь следует, как я думаю, рассмотреть, что представляют из себя упомянутые мною отрезки или члены, — ибо в подлинных речах им принадлежит главная роль.

Законченный в своем кругообороте период состоит приблизительно из четырех частей, называемых у нас членами: в таком виде он дает достаточное удовлетворение слуху, будучи не короче и не длиннее, чем требуется. Хотя иногда, скорее даже часто, бывают отклонения и в ту и в другую сторону, так что приходится или делать остановку раньше, или продолжать период дольше, однако не должно казаться, что слух обманут чрезмерной краткостью или оглушен чрезмерной длительностью: речь идет лишь о средней мере, перед нами ведь не стихи, а проза, 222 построение которой значительно свободнее. Итак, полный период, как известно, состоит приблизительно из четырех частей, по объему равных гексаметру. Каждый из этих «стихов» снабжен, так сказать, соединительными зацепками; в периоде мы присоединяем ими дальнейшую речь, а если хотим говорить членами, то делаем в этих местах остановки и в случае нужды легко и просто отказываемся от подозрительного течения речи. Но именно в членах требуется более всего заботы о ритме, который здесь всего незаметнее и всего сильнее.

Таковы слова Красса: «*Missos faciant patronos; ipsi prodeant*»: если бы он не сделал паузу перед «*ipsi prodeant*», то и сам конечно бы заметил, что допустил сенарий; во всяком 379случае, лучше было бы окончание «*prodeant ipsi*», но я сейчас

не говорю о частностях. «*Cur clandestinis consiliis nos oppugnant?*

*Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos?»*<sup>1</sup> Здесь первые две части принадлежат к тому роду, который греки называют «коммами», мы — отрезками; далее, третья — по-гречески «колон», по-нашему член; и затем следует небольшой (составленный из двух стихов, т. е. членов) период, заканчивающийся спондеями. Красс почти всегда так и говорил, и я такой образ речи очень одобряю. 67. Но когда речь ведется отрезками или членами, они должны оканчиваться особенно складно, как, например, у меня: «*Domus tibi deerat? at habebas. Pecunia superabat? at egebas*». Здесь четыре отрезка, а вслед за этим — два члена: «*Incurristi amens in columnas, in alienos insanus insanisti*». Далее все опирается как на основание на более длинный период: «*Depressam, saecam, iacentem domum pluris quam te et quam fortunas tuas aestimasti*»<sup>2</sup>. В окончании — дихорей, в предыдущем же члене были спондеи: дело в том, что когда приходится, так сказать, разить частыми ударами, то сама краткость требует большей свободы стоп: часто случается брать одну стопу, обычно две, в обоих случаях можно прибавить по половине стопы, но всего не более трех. Речь, разработанная по отрезкам и членам, имеет великую силу в подлинных делах, особенно же при нападении или опровержении. Такова у нас вторая речь за Корнелия: «*O callidos homines, o rem excogitatam, o in-genia metuenda!*» Это члены; затем отрезок: «*Diximus*»; и опять член: «*testes dare volumus*». В заключение следует период, но только из двух членов, т. е. наивозможно короткий: «*Quem, quaeso, nostrum fefellit ita vos esse facturos?»*<sup>3</sup> Также нет лучше, чем разить ударами по два-три слова, иной раз по одному, иной раз — по несколько, между тем как время от времени их перемежают ритмические периоды с разнообразными окончаниями. Гегесий вовсе неправ, когда избегает таких периодов и только рубит свою скачущую речь на мелкие частицы (а ведь он тоже

думает подражать Лисию, этому, можно сказать, второму Демосфену!); притом и мыслями Гегесий так же скуден, как и словами, так что, право, кто узнал его, тому уже не надо искать оратора негоднее. Отрывки же из речей Красса и моих я привел затем, чтобы кто хочет, почувствовал своими ушами, какой ритм есть и в мельчайших членениях речи.

.<sup>1</sup> Пусть назначают они послов заступниками, а сами становятся предателями (...). Отчего они строят против нас тайные заговоры? Отчего набирают против нас войска из наших же перебежчиков?

<sup>2</sup> Дома тебе не хватало? Был он у тебя! Денег было слишком много? Не было их у тебя! Без памяти бросился ты к столбам; безумный, безумствовал против чужих. Жалкий, глухой, рухнувший дом почел ты дороже себя и своих средств.

\* О хитроумные люди, о выношенный замысел, о полные опасности умы! — Так заявляем мы; и хотим представить свидетелей. Скажите, разве кто из нас обманулся, предвидя ваши действия?

[Ритм: его польза.] Так как мы сказали о ритмической речи подробнее, чем кто-либо до нас, теперь скажем о пользе такого <sup>227</sup> рода речи. 68. Ты лучше, чем кто бы то ни было, знаешь, Брут, что говорить красиво, как говорит истинный оратор, это не что иное, как выражать прекрасные мысли отборнейшими словами. Никакая мысль не будет полезна оратору, не будучи изложена складно и законченно, и никакие слова не явят свой блеск, не будучи тщательно расположены; и как тому, так и другому яркость придается ритмом. Однако ритм — об этом следует непрестанно напоминать — не только не должен быть стихотворным, но, напротив, всячески уклоняться от него, избегая сходства с ним: дело в том, что одни и те же ритмы имеются не только у ораторов с поэтами, но и вообще во всяком разговоре и при всяком звучании, какое только можно измерить нашим ухом, и лишь порядок стоп определяет, будет ли похоже произносимое на прозу или на стихи. 228 Итак, этот прием — предпочтем ли мы называть его построением, или отделкой, или ритмом, — необходимо применять всякому, кто хочет говорить пышно, и не только для того, чтобы речь не лилась безостановочным потоком, как говорят Аристотель и Феофраст (ведь остановку в ней должно определять не дыхание оратора или препинание писца, а требование ритма), но еще и потому, что стройная речь бывает гораздо сильнее беспорядочной. И как мы видим, что кулачные бойцы, а также гладиаторы и при осторожной обороне и при стремительном нападении в каждом своем движении обнаруживают известную выучку, так что все, что в их приемах полезно для боя, то и приятно для зрения, — так и оратор не нанесет тяжкого удара, если не будет удобного случая для нападения, и не сможет удачно уклоняться от натиска, если не найдет достойного отступления. И как движения тех атлетов, которых греки называют невышколенными, такой представляется мне речь тех, кто не замыкает мысли ритмически. Не сумев достигнуть этого из-за невежества учителей, из-за слабых способностей или из-за нерадения в работе, они обычно говорят, будто от расположения слов речь теряет силу, между тем как на самом деле иначе в ней и быть не может ни сил, ни напора.

69. Но это искусство требует усердного упражнения, иначе мы рискуем уподобиться тем, кто посягнул на этот образ речи, но не совладал с ним. Так, опасно слишком откровенно переставлять слова для большей плавности или округленности <sup>230</sup> речи. Л. Целий Антипатр в предисловии к «Пунической войне» заявляет, что он это допускал лишь по необходимости — как наивен он в своей откровенности и как разумен, покорствуя необходимости! Но он и вообще был неопытен: а нам неопытность не послужит извинением ни в речи, ни в письменном

сочинении, ибо нет ничего незаменимого, а если бы что и было, так надо ли в этом признаваться? Он же, извиняясь перед Л. Элием, которому он посвящает свое сочинение, просит для себя снисхождения и пользуется перестановками слов, хотя от этого его фразы наполняются и закругляются ничуть не более складно. А у других, и главным образом у азианцев, более всего поработанных ритмом, можно найти пустые слова, вставленные как бы для заполнения ритма; некоторые же дробят и рубят ритм, впадая в низменный род речи, похожий на стишки, — порок, берущий начало главным<sup>231</sup> образом от Гегесия. Третий недостаток — тот, в котором повинны первейшие из азианских риторов, Гиерокл и Менекл; впрочем, я их вовсе не собираюсь недооценивать: хотя они и далеки от образов действительности и от аттических уставов, однако возмещают этот недочет обилием и легкостью; но не было у них разнообразия, и почти все заключения делали они одинаковыми. Кто избежит всех этих недостатков — и перестановки слов, избобличающей искусственность, и лишних слов, как бы затыкающих щели, и дробных ритмов с раздерганными мыслями, и вечного топтания в кругу одних и тех же ритмов, — тот избежит едва ли не всех недостатков вообще. А о тех достоинствах, которые явно противоположны всем этим недостаткам, нами было сказано уже немало. 70. Каково значение складной речи, можно убедиться на опыте: если ты возьмешь хорошо слаженное построение тщательного оратора и нарушишь его перестановкой слов — развалится вся фраза. Так например, в нашей речи за Корнелия и всюду далее: «Neque me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Laelios multi venalici mercatoresque superarunt» — измени немного, чтобы получилось «multi superarunt mercatores venalicique», и все погибнет. Далее: «neque vestis aut caelatum aurum et argentum, quo nostros veteres Marcellos Maximosque multi eunuchi e Syria Aegyptoque vicerunt» — измени слова, и получится: «vicerunt eunuchi e Syria Aegyptoque». Третий пример: «neque vero ornamenta sunt villarum, quibus L. Paullum et L. Mummius, qui rebus his urbem Italiamque omnem refererunt, ab aliquo video perfacile Deliaci aut Syro potuisse superari»<sup>1</sup> — сделай<sup>233</sup> так: «potuisse superari ab aliquo Syro aut Deliaci»; разве не видишь, как малейшее перемещение слов, хотя бы слова оставались те же, превращает все в ничто, когда заменяет складность беспорядком? Так же, если ты выхватишь какую-нибудь несвязную фразу беспорядочного оратора и обточишь ее, слегка меняя порядок слов, то форма ее, прежде расплывчатая и бессвязная, станет складной. Так, возьми из речи Гракха

<sup>1</sup> Меня не волнуют богатства, которыми всех Сципионов и Лелиев превозмогали купцы и работоторговцы (...), ни одеяния, ни чеканное серебро и золото, которыми наших древних Марцеллов и Максимов побеждали евнухи из Сирии или Египта (...), ни убранство вилл, в котором Луция Павла или Луция Муммия, заполонивших этими украшениями Рим и всю Италию, без труда превзойдет какой-нибудь делосец или сириец.

перед цензорами: «Abesse non potest quin eiusdem hominis sit probos improbare, qui improbos probet»<sup>1</sup> — насколько лучше было бы сказать: «Quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare!»

**[Ритм: похвала ему.]** Говорить таким образом всякий хотел бы и всякий говорил бы, если бы мог; а кто говорил иначе, тот просто не умел этого достичь. Оттого и явились эти аттики с их неожиданным именем — словно Демосфен, чьи молнии блистали бы слабее, не будь они напряжены ритмом, был родом из Тралл! 71. Впрочем, если кому больше нравится беспорядочная речь, пусть тот ею и пользуется: так, если разъять щит Фидия, исчезнет общий образ



расположения, но сохранится красота отдельных частей; так, у Фукидида недостает ораторской закругленности, украшения же речи выдержат любое сравнение. Но когда эти люди расстраивают речь, убогую и по мыслям и по словам, то они не щит разымают, но, по выражению пословицы, грубому, зато верному, веник раздирают по прутику.

Чтобы показать, что они действительно презирают тот род красноречия, который мне любезен, пусть или они сами что-нибудь напишут в духе Исократы, или Эсхина, или Демосфена, — тогда я поверю, что они не бежали от него испуганно, а отступили сознательно; или же я сам пойду на такое же условие, взявшись сказать или написать в их стиле что им угодно и на каком угодно языке. Ведь легче разрушить складное, чем связать рассыпанное. Короче сказать, я думаю, что дело обстоит вот как: говорить стройно и складно, но без мыслей — есть недостаток разума, а говорить с мыслями, но без порядка и меры слов — есть недостаток красноречия; но особенность этого недостатка в том, что те, кто в нем повинны, не только не слывят глупцами, но напротив того, людьми разумными. Кому этого довольно, тот пусть так и делает. Истинно же красноречивый человек должен вызвать не только одобрение, но, если угодно, восторги, клики, рукоплескания: и он будет настолько возвышаться во всем, что ему должно быть стыдно, если что-нибудь сможет больше привлечь зрение или слух, нежели его выступление.

**[Заключение.]** Вот тебе, Брут, мое мнение об ораторе: если оно тебе по душе, ты с ним согласишься, если же ты думаешь иначе, то останешься при своем. Здесь я не буду спорить с тобой, и никогда не стану утверждать, что мое мнение, которое я с таким усердием развивал в этой книге, ближе к истине, чем твое. Ибо не только мне и тебе, но и мне самому в различных случаях может казаться истинным то одно, то другое. И не только в нашем предмете, где все направлено к удовольствию толпы и к услаждению слуха, — а это слишком легковесные основания для суждений, — но и в иных, важнейших делах до сих пор не нашел я ничего достаточно надежного, за что можно было бы держаться и чем можно было бы руководствоваться, и хватаюсь за то, что мне кажется ближе всего к истине, сама же истина скрыта от меня. И я хотел бы, чтобы ты, если тебе не понравятся эти рассуждения, подумал о том, что я взялся за слишком обширное начинание, чтобы довести его до конца, или о том, что я, желая выполнить твою просьбу, устыдился отказа, и поэтому столь неразумно взялся за это сочинение.

Человек, который хвалит достойных хулы, неизбежно будет хулить достойных хвалы.